

Труженики моря

Автор:

Виктор Гюго

Труженики моря

Виктор Мари Гюго

100 великих романов

Роман был написан Виктором Гюго (1802—1885) на одном из островов Ла-Маншского архипелага, где писатель провел в изгнании девятнадцать лет. На «Тружеников моря» Гюго смотрел как на завершающую часть трилогии, где изображается борьба человека против трех враждебных ему сил: стихии суеверий («Собор Парижской Богоматери»), социальной стихии («Отверженные») и, наконец, стихии природы.

Сюжет навеян впечатлениями от быта островитян и неповторимой красоты окружающего остров моря. По словам Мориса Тореза, со страниц этой книги «доносится бешеный рев морских волн. Главный герой Жильят – тоже «отверженный», но с отважной душой и чистым сердцем. Он бросает дерзкий вызов стихиям и один, среди неслыханных трудностей и бесчисленных опасностей, совершает свой подвиг.

Виктор Гюго

Труженики моря

Посвящаю эту книгу гостеприимным и свободолюбивым скалам, уголку древней земли нормандской, заселенному маленьким и гордым приморским народом, суровому, но радушному острову Гернсею, моему нынешнему убежищу – быть может, моей будущей могиле.

Удел человека

Роман Виктора Гюго (1802–1885) «Труженики моря» образует с двумя его романами из девяти нечто вроде трилогии. Упрощенно: тема «Собора Парижской Богоматери» – это человек и цивилизация, тема «Отверженных» – человек и общество, а «Тружеников моря» – человек и природа, точнее, безличная стихия и прародительница всего живого – море. Соответственно, и человек здесь, для обострения романтической антитезы, моряк. А это особая порода людей, поскольку даже простой матрос или промысловый рыбак обязан уметь делать все, имея дело с такой грозной и капризной стихией. В романе Гюго это Жильят, и целиком посвященная его трудовому подвигу вторая часть «Тружеников моря» – самая напряженная, драматичная и интересная часть этой книги.

Гюго успел хорошо познакомиться с образом жизни нормандских «поморов» за девятнадцать лет жизни в изгнании на островах архипелага в Ла-Манше, который англичане зовут Английским каналом, а сам Гюго в романе назвал «Эгейским морем Запада». Уже одно это говорит о нацеленности писателя на создание нового мифа и творческом соперничестве с творениями эллинов – древнейших мореходов, поэтов и философов, понимавших, что такое судьба, Рок и удел человека, но знавших также, что такое героизм и демократия. Последнее обстоятельство не могло не импонировать романтику-политэмигранту и убежденному республиканцу Гюго, давно распрощавшемуся с роялистскими взглядами и аристократическими симпатиями. «Будущее принадлежит двум типам людей – человеку мысли и человеку труда. В сущности, оба они составляют одно целое: ибо мыслить – это значит трудиться» – так считал Гюго. Отсюда и название «Труженики», что не могло не импонировать уже широким слоям советских читателей и сделалось слоганом газетных передовиц: «труженики полей» и т. п.

Экономическая первая и мелодраматическая третья части романа совершенно литературны, а вот вторая вполне тянет на миф, живописуя поединок героя-

одиночки с титаническими силами природы. Почти как в сказке: разоренный судовладелец обещает отдать дочь замуж за смельчака, который сумеет справиться с невыполнимой задачей – снять и доставить двигатель колесного парохода, выброшенного штормом на торчащие из моря две скалы, как на опоры, подобно пролету моста из ниоткуда в никуда. Внизу кипящие буруны, искусно припрятанная лодчонка героя, два месяца каторжного труда, добыча скудного пропитания, ночлег под открытым небом на вершине скалы и самодельная кузница в ее нише – жуть, да и только! Еще и былинный поединок героя с исчадием моря – жутким осьминогом. Но, подобно другому моряку – упорному труженику и изобретательному умельцу Робинзону Крузо, – Жильят выходит победителем в борьбе с грозными силами стихии.

В романе рассказывается о подвиге, но также о поражении победителя, по собственной воле оставшегося без вознаграждения, которое ему и не нужно, по большому счету. Он герой, пожизненный труженик и победитель – и ему этого достаточно. Великодушно уступив невесту другому, он провожает взглядом судно счастливых новобрачных и позволяет морю поглотить себя во время прилива – как бы сливается со стихией и растворяется в ней, погибая. Гюго заканчивает так: «Осталось только море».

Сами собой приходят на ум два похожих сюжета двух нобелевских лауреатов по литературе – «Старик и море» Хемингуэя и «Миф о Сизифе» Камю. «Одной борьбы за вершину достаточно, чтобы заполнить сердце человека. Сизифа следует представлять себе счастливым», – говорится в философской притче экзистенциалиста Камю. Третий нобелевский лауреат, Бунин, подводя итог своей жизни, писал: «Мне кажется, что я, как художник, заслужил право сказать о себе, в свои последние дни, нечто подобное тому, что сказал, умирая, Бернар». Последними словами этого капитана яхты и друга Мопассана были: «Думаю, что я был хороший моряк».

Такая вот эстафета и переклички, читатель...

Игорь Клевх

Религия, общество, природа – вот три силы, с которыми ведет борьбу человек. Он ведет борьбу со всеми тремя, но все три необходимы ему: человеку должно

верить – отсюда храм, должно созидать – отсюда город, должно существовать – отсюда плуг и корабль. Решая тройную задачу, он вступает в тройной поединок. И это – тройное свидетельство непостижимой сложности бытия. Перед человеком стоит препятствие, воплощенное в суеверие, воплощенное в предрассудок и воплощенное в стихию. Тройственное ананке[1 - Ананке (ΑΝΑΓΚΗ) – рок, судьба (греч.)] правит нами: ананке догматов, ананке законов, ананке слепой материи. В Соборе Парижской Богоматери автор возвестил о первом, в Отверженных указал на второе, в этой книге он говорит о третьем.

К трем predeterminedениям, тяготеющим над нами, присоединяется внутреннее predeterminedение, верховное ананке – сердце человеческое.

Отвиль-Хауз, март 1866 г.

Ла-Маншский архипелаг

I. Стихийные бедствия прошлого

Атлантический океан подтачивает наши берега. Под натиском полярного течения меняется наше скалистое западное побережье. Гранитная стена на взморье – от Сен-Валери-на-Сомме до Ингувиля – подрыва; обрушиваются огромные глыбы, вода перекачивает горы валунов, заваливает камнями и затягивает песком наши гавани, заносит устья наших рек. Ежедневно отрывается и исчезает в волнах клочок нормандской земли. Титаническая работа, затихающая ныне, некогда внушала ужас. Лишь огромный волнорез – Финистер обуздывал море. По провалу между Шербургом и Брестом легко судить о мощи северного прилива, о неистовой силе, разрушавшей берег.

Залив в Ла-Манше образовался за счет земли французской, и произошло это в доисторические времена. Однако дата последнего набега океана на наше побережье известна. В 709 году, за шестьдесят лет до восшествия на престол Карла I, море одним ударом откололо от Франции Джерсей. Кроме Джерсея, видны и гористые берега земель, затопленных еще раньше. Вершины,

выходящие из воды, – острова. Называются они Нормандским архипелагом.

Там расселился трудолюбивый человеческий муравейник.

Вслед за работой моря, сотворившей пустыню, началась работа человека, сотворившая народ.

II. Гернсей

Гранит на юге, песок на севере; здесь – крутизна, там – дюны; покатая равнина с волнистой грядой холмов, вздыбленные скалы; бахрома этого зеленого, собранного в складки покрывала, – морская пена; то тут, то там вдоль берега осыпавшийся вал, на нем несколько орудий, башня с бойницами; у самого моря – крепостная стена с амбразурами и лестницами, ее заносит песок и бьет в нее волна, теперь ей грозит только эта осада; мельницы, обезглавленные бурями; в Валле, в Виль-о-Руа, в порту Сен-Пьер, близ Тортваля крылья иных еще вертятся; в скалистых бухтах – якорные стоянки; в дюнах – стада; без устали рыскают овчарки и сторожевые псы погонщиков скота; одноколки городских торговцев, подскакивая, мчатся по ухабистым дорогам; нередко встретишь черные дома: на западном побережье их просмаливают, предохраняя от дождей; петухи, куры, навозные кучи; повсюду циклопические стены; стояли они прежде и в старинной гавани, их огромные гранитные глыбы, могучие столбы, тяжелые цепи изумляли взор; теперь, к сожалению, все это уничтожено; фермы в раме вековых деревьев; поля, обнесенные каменной оградой по пояс высотой, словно исчертили равнину сложным шахматным узором, лачуги, сложенные из гранита, – настоящие казематы; хижины эти устояли бы под градом ядер; кое-где в глуши новое зданье с колоколом на крыше – школа; два-три ручья в низинах; дубы и вязы; самой природой взлелеянная лилия Гернсея – таких нигде больше не найти в весеннюю страду – плуги с восьмеркой лошадей; перед домами объемистые стога на каменных тумбах, стоящих кольцом; заросли дикого терновника и рядом подстриженные тисовые деревца, фигурные кусты, вычурные вазы – сады в старинном французском стиле вперемежку с фруктовыми садами и с огородами; изысканные цветы за тыном крестьянской усадьбы; рододендроны среди картофельной ботвы; на траве сушатся побуревшие водоросли; кладбища без крестов; там в лунном свете каждый надгробный камень кажется призраком, Белой дамой; на горизонте десяток

готических колоколен; старые церкви, новые догматы: протестантские обряды уживаются с католической архитектурой; в песках и на мысах сумрачная кельтская загадка, воплощенная в различные формы: менгиры, пельваны, длинные камни, камни волшебные, камни качающиеся, звенящие камни, каменные галереи, кромлехи, дольмены; всевозможные памятники истории; после друидов – католические священники, после католических – протестантские; живы легенды о том, как на вершину, где стоит замок архангела Михаила, низвергся Люцифер, как на другую вершину, на мысе Дикар – Икар; цветы цветут и летом и зимою. Таков Гернсей.

III. Гернсей. Продолжение

Тучная, плодородная земля, полная соков. Лучших пастбищ не найти. Отменная пшеница, породистые коровы. Телки с выгонов Сен-Пьер-дю-Буа не уступают премированным овцам с Конфоланского плоскогорья. Сельскохозяйственные общества Франции и Англии отмечают премиями продукты нив и пажитей Гернсея. К услугам сельского хозяйства множество дорог; превосходная сеть путей сообщения наполняет жизнью весь остров. Дороги там отличные. У одного перекрестка лежит на земле плоский камень, на нем высится крест. Готье де ла Сальт, старейший бальи Гернсея, назначенный в 1284 году и открывший список бальи, был повешен за неправый суд. На том месте, где бальи в последний раз преклонил колени, где он в последний раз молился, и стоит этот крест, называемый «Крестом бальи».

В бухтах и заливах, у якорных стоянок море пестрит большими буями, похожими на размалеванные сахарные головы; они покачиваются на волнах, и в глазах рябит от красной и белой клетки, черных и желтых полос, от зеленых, синих, оранжевых крапинок, ромбов и разводов. Порой доносится однообразное пение матросов, тянущих судно бечевой.

Довольный вид не только у рыбаков: у садовников и земледельцев тоже. Почва, насыщенная прахом каменных пород, могуча; ил и водоросли сдобривают ее солями; вот причина невероятной плодоносности; все растет на глазах; всюду магнолии, мирты, лавры, олеандры, голубые гортензии; фуксии цветут пышным цветом; аркадами встает трехлистная вербена, стеною высится герань; апельсиновые и лимонные деревья зеленеют под открытым небом, в теплицах

созревает виноград, и он бесподобен, камелии – словно деревья; в садах алоэ вышиною с дом. Нет на свете роскошней, нет сказочней той растительности, что заслоняет и украшает фасады прелестных вилл и коттеджей острова.

Но не все побережье Гернсея пленяет взоры, в иных местах остров просто страшен. Западная его сторона оголена шквалами. Там высокий прибой, гам штормы, обмелевшие бухты, залатанные лодки, поля под паром, пустоши, лачуги, порой деревушка с шаткими и убогими домами, тощие стада, просоленная низкорослая трава – угрюмая картина безысходной нищеты.

Ли-У – пустынный остров, высящийся поодаль и доступный лишь во время отлива. Он зарос кустарником, изрыт норами. У кроликов острова Ли-У развито чувство времени. Они выходят из своих тайников только в часы прилива. Они издеваются над человеком. Друг океан защищает их. В таких великих братских союзах воплощена сама природа.

Если заняться раскопками наносной земли в Вазонской бухте, то там найдешь деревья. Под таинственной толщей песка погребен лес.

Рыбаки западной части Гернсея, иссеченной ветрами, вышколены океаном, они искусные лоцманы. Море близ островов Ла-Манша необычно. Неподалеку Канкальская бухта – тот уголок земного шара, где бывает самый высокий прилив.

IV. Травы

Трава на Гернсее – обыкновенная трава, только она чуть побогаче, чем везде; гернсейские пастбища под стать лугам близ Ключа или Жеменоса. Вы тут найдете, как в любом другом месте, овсяницу и мятлик, но здесь больше костеря с веретеновидными колосками, канареечника, полевицы, из которой делается зеленая краска, желтого лупина, бухарника с ворсистым стеблем, благоухающего желтоцветника, дрожащих кукушкиных слезок, курослепа, диких злаков; здесь лисохвост – его колос похож на крошечную булаву, куга – из ее стеблей плетут корзины, песочный овсец – он укрепляет зыбучие пески. И все? Нет. Тут встретишь и песью траву – ее цветы свертываются клубочком, и дикое просо, а по словам некоторых здешних агрономов, и бородач. Скерды,

листья которых похожи на листья одуванчиков, показывают время, а сибирская заячья капуста предвещает погоду. Трава как трава, но все же такой травы вы нигде не найдете, ибо это трава архипелага; ведь она растет на граните и поливают ее волны океана.

А теперь вообразите целый мир насекомых, и прелестных и уродливых, они ползают среди былинки и порхают над ними: в траве – длиннорогие, длинноусые жуки долгоносики, муравьи, пасущие своих кормилиц – травяных тлей, кузнечики, букашка, что зовется «божьей коровкой», и листоед, что зовется «чертовой тварью»; на траве и в воздухе – стрекозы, наездники, осы, бронзовики, бархатистые шмели, ажурнокрылые мухи, осы с красным брюшком, жужжащие шершни, – вообразите все это, и вы получите представление о сказочном зрелище, которое созерцает на гребне горы близ Жербура или Фермен-Бэя июньским полднем энтомолог, склонный к мечтательности, и склонный к естествознанию поэт.

И вдруг в нежно-зеленой мураве мелькнет перед вами квадратная плита, а на ней две выгравированные буквы: W. D., что означает War Department, то есть Военное ведомство. Так и должно быть. Цивилизации следует проявить себя. Иначе здесь была бы настоящая глушь. Отправьтесь на рейнские берега, отыщите подобный нетронутый уголок; вам почудится, что вы попали в храм, так торжественно величав в иных местах пейзаж; невольно на ум приходит, что этот край особенно возлюбил господь; углубитесь в горы, туда, где вы найдете приют уединения и где безмолвен лес, изберите хотя бы Андернах и его окрестности, посетите сумрачное, словно застывшее Лаахское озеро, почти легендарное, – так мало о нем известно; нигде не найти столь царственного спокойствия, бытие вселенной отражено здесь во всем своем священном бесстрастии; повсюду полная невозмутимость, нерушимый порядок великого беспорядка природы; вы идете умиленный среди этого безлюдья, оно полно неги, как вешняя пора, оно печально, как дни осени; ступайте наугад, не останавливайтесь у развалин монастыря, растворитесь в безмолвии оврагов, волнуящем душу, в пении птиц, шелесте листвы; пейте прямо из горсти родниковую воду, бродите, размышляйте, отдайтесь забвению; вот перед вами хижина, она стоит на краю селенья, затерянного среди деревьев; уютный домик утопает в зелени, увит плющом и душистыми цветами, в нем звенят детские голоса, смех, вы подходите ближе, и на древнем камне древней стены, застланной ярким рубищем светотени, под названием селенья – Лидеербрейциг, вы читаете: 2-я рота 22-го запасного батальона.

Вы думали, что находитесь в деревушке, а попали в полк. Таков уж человек.

V. Козни моря

Оверфол – читай «гиблое место» – явление обычное на западном берегу Гернсея. Берег этот искусно изрезан волнами. Говорят, ночью на вершине предательских утесов появляется сверхъестественное сияние, что подтверждают и бывалые мореходы: оно то предостерегает, то сбивает с пути. Смелые и легковверные моряки различают под водой легендарную голотурию – эту крапиву, растущую на дне морей и в преисподней: стоит до нее дотронуться, как руку опалит пламя. Такое местное название, как, например, Тентаже (от галльского Тен-Тажель), свидетельствует о том, что тут дело не обходится бег дьявола. Эсташ, он же Уэйс, намекает на него в старинных своих виршах.

Лукавый тут забушевал.

И за волной взметнулся вал.

Покрыла небо туча злая;

Ни тьме конца, ни морю края.

Ла-Манш так же непокорен ныне, как во времена Тьюдрига, Умбрафеля, Черного Амонду и рыцаря Эмира Лидо, укрывавшегося на острове Груа, близ Кемперле. В здешних краях море устраивает представления, которых следует остерегаться. Компас у нормандских остронов выкидывает удивительные фокусы; бывает, например, так: буря надвигается с юго-востока, потом наступает затишье, полное затишье; вы облегченно вздыхаете; порою так проходит час; вдруг – ураган, но не с юго-востока, а с севера, он налетал с кормы, теперь налетает с носа; буря идет в обратном направлении. Только опытный лоцман, морской волк, успеет переставить паруса в затишье, пока меняется ветер, а иначе недобровать: судно терпит крушение и тонет.

В бытность свою на Гернсее Рибероль, окончивший жизнь в Бразилии, урывками записывал события дня. Вот листок из его дневника: «1 января. Новогодний гостинец: буря. Судно, прибывшее из Портриэ, вчера пошло ко дну прямо против крепости. 2 января. Близ Рокена затонул трехмачтовый корабль шел из Америки.

Семеро погибло. Двадцать одна душа спасена. 3 января. Почтовое судно не прибыло. 4 января. Буря продолжается... 14 января. Ливень. Во время обвала погиб человек. 15 января. Непогода. «Тауну» не удалось отчалить. 22 января. Внезапный шторм. На западном берегу пять несчастных случаев. 24 января. Буря не унимается. Отовсюду вести о кораблекрушениях».

В этих краях океан почти никогда не утихает. Вот почему тревожный голос поэта древности Ли-Уар-Эна, этого Иеремии морей, доносит до нас через века вопли чаек и неумолчный грохот шторма.

Но не буря всего страшнее для судов в водах архипелага; шторм неистовствует, и его неистовство предостерегает. Судно сейчас же возвращается в порт или ложится в дрейф, моряки спешат убрать верхние паруса; если ветер крепчает, все паруса берут на гитовы, и из беды можно выпутаться. Величайшие опасности в этих водах – опасности невидимые, постоянно подстерегающие, и они тем неотвратимей, чем лучше погода. При встрече с ними прибегают к особому маневру. Моряки западного Гернсея отлично выполняют этот маневр, который можно было бы назвать предотвращающим. Им ведомы, как никому, три опасности, которые грозят им в часы затишья: «западня», «плешина» и «водокруть». Западня – это подводное течение, плешина – мель, водокруть – водоворот, ямина, воронка из подводных скал, колодец на дне морском.

VI. Скалы

Побережье Ла-Маншского архипелага почти пустынно. Острова живописны, но трудно и страшно к ним подступиться. В Ла-Манше, – он сродни Средиземному морю, – волна резка и неистова, бурлив прибой. Оттого-то затейливо выдолблены скалы на взморье и глубоко подмыт берег.

Плывешь вдоль острова, и чередой встают перед тобою обманчивые видения. Скала то и дело старается тебя одурачить. Где гнездятся химеры? В самом граните. Невиданное зрелище. Огромные каменные жабы вылезли из воды, конечно, чтобы глотнуть воздуха; у горизонта куда-то торопятся, склонив головы, исполинские монахины, и застывшие складки их покрывал легли по ветру; короли в каменных коронах, восседая на массивных престолах, обдаваемых морской пеной, предаются размышлениям; какие-то существа,

вросшие в скалу, простирают руки, виднеются их вытянутые пальцы. И все это лишь бесформенные береговые скалы. Приближаешься. Пред тобой нет ничего. Камню свойственны такие превращения. Вот крепость, вот развалины храма, вот скопище лачуг и обветшалых стен – настоящие руины вымершего города. Но ни города, ни храма, ни крепости и в помине нет: это утесы. Подплываешь или удаляешься, идешь по течению или огибаешь берег – скалы меняют облик; даже в калейдоскопе так быстро не рассыпается узор; одни образы рассеиваются, другие возникают; перспектива подшучивает над нами. Вон та глыба – треножник; да нет же, это лев, нет – ангел, и вот он взмахнул крылами; а теперь это человек, читающий книгу. Ничто так не изменчиво, как облака, но еще изменчивее очертания скал.

Они поражают величием, но не красотой. Порой в них есть даже что-то болезненное и отталкивающее. Скалы покрыты наростами, опухолями, нарывами, синяками, шишками, бородавками. Горы – горбы на земном шаре. Г-жа де Сталь, услышав, как Шатобриан, который был сутуловат, бранил Альпы, сказала: «В нем говорит зависть горбуна». Величественные линии, величественное спокойствие природы, морская гладь, силуэты гор, мрак лесов, небесная лазурь – все сочетается с каким-то не-удержим распадом, неотделимым от гармонии. Красоте даны одни линии, уродству – другие. У иных бывает улыбка, у иных – оскал зубов. Непрерывно изменяются скалы и облака. Форма облака, плывущего по небу, расплывчата; форма скалы, стоящей неподвижно, непостоянна. Ужас первобытного хаоса оставил след на вселенной. Рубцами покрыты великолепные творения. Безобразное иногда ошеломляет, примешиваясь к прекрасному и как бы восставая против порядка вещей. Подчас облако искажается гримасой. Подчас небо паясничает. В ломаных линиях волны, листвы, скал чудятся карикатурные образы. Там царит уродство. Нигде не найти правильного абриса. Во всем – величие, но нет чистоты рисунка. Вглядитесь в облака: какие только фигуры там не возникают, с чем только не находишь в них сходства, какие только лица не мерещатся. Но поищите греческий профиль. Калибана вы найдете, а Венеру никогда; Парфенон вы не увидите. Зато порою, в вечерний час, громадная туча, плитой опустившаяся на облачные столбы и окруженная глыбами тумана, темнеет на бледном, сумеречном небе гигантским чудовищным кромлехом.

VII. И побережье и океан

На Гернсее хутора монументальны. Иной раз у самой дороги, будто декорация, встает стена, а в ней пробиты ворота и калитка. Время выдолбило в косяках и арках ворот глубокие впадины, там пускают ростки споры полевого мха, там нередко вспугнешь спящую летучую мышь. Под сенью деревьев – древние, но живучие деревушки. Соборной стариной веет от хижин. В стене каменной лачуги, на пути в Уби, – ниша, в ней обрубок колонны с датой: 1405 год. На фасаде другой, ближе к Бальморалю, изваяние герба из камня, как на крестьянских домах Эрнани и Австригары. Куда ни взглянешь, всюду на фермах окна в косую решетку, лестничные башенки и лепные арки эпохи Возрождения. У каждой двери гранитный приступок, с которого всадники садились на коней.

Иные хибарки были прежде баркасами; корпус опрокинутого судна, установленного на столбах и балках, – готовая крыша. Корабль трюмом вверх – храм; храм куполом вниз – судно; перевернутый молитвенный дом укрощает морскую волну.

В бесплодных приходах западного Гернсее, среди невозделанных земель, обычный колодец с белым каменным навесом приводит на память гробницу арабского святого. Вместо ворот в изгороди, окружающей поле, просверленное бревно на каменном стержне; по известным приметам узнают плетни, на которые по ночам садятся верхом гномы и морские духи.

Склоны оврагов заросли папоротником, вьюнком, остролистом с багряными ягодами, розовым шиповником, шиповником белым, шотландской бузиной, бирючиной и растением с длинными гофрированными листьями, которые называются воротничками Генриха IV. Среди трав на приволье разрастается кипрей – излюбленная пища ослов, благозвучно и деликатно именуемая в ботанике «онагровым кипреем». Повсюду кустарник, грабовая поросль, «зеленокудрая дубрава», густая чаща, где щебечет целый мир пернатых, подстерегаемый миром пресмыкающихся; дрозды, коноплянки, малиновки, сойки, стремглав проносятся арденские иволги, кружат стаи скворцов; тут и зеленушка, и щегол, и пикардийская галка, и краснолапая ворона. Попадаются ужи.

Маленькие водопады, отведенные в желоба, через деревянные полусгнившие стенки которых пробиваются капли, приводят в движение мельницы, шумящие меж деревьев. Кое-где во дворах ферм еще увидишь старинную давильню для приготовления сидра и выдолбленный каменный круг, в котором вертелось колесо, мывшее яблоки. Скотина пьет из корыт, похожих на саркофаги. Быть

может, какой-нибудь кельтский король истлел в такой вот гранитной гробнице, а теперь из нее мирно тянет воду юнорок корова. Поползни и трясогузки дружной ватагой грабят зерно, засыпанное курам.

Все побережье выцвело. Ветер треплет траву, опаленную солнцем. На некоторых церквах – ряса из плюща до самой колокольни. В иных местах на пустошах, заросших вереском, торчит скала, на ее макушке – лачуга. Пристаней нет, поэтому суда вытаскивают на сушу, огромные камни служат им подпорками. Паруса на горизонте кажутся не то изжелта-красными, не то шафраннорозовыми, но не белыми. С подветренной стороны деревья в опушке из лишайников; даже камни, точно для самозащиты, закутались в плотный и густой мох. Шорохи, ветерок, шелест листьев, внезапный взлет морской птицы, несущей в клюве серебристую рыбешку, уйма пестрых бабочек, все новых с каждым временем года; полнозвучная разноголосица среди гулких скал. На воле по целине носятся невзнузданные кони. Они то катаются по траве, то скачут, то стоят как вкопанные, глядя на волны, беспрерывно набегающие из морских просторов, и гривы их полощутся по ветру. В мае вокруг ветхих сельских и рыбацких домиков целые заросли левкоев, а в июне стеною стоит цветущая сирень.

Разрушаются в дюнах батареи. Пушки молчат, и это на пользу крестьянам; на амбразурах сушатся рыболовные снасти, меж четырех стен развалившегося блокгауза пасется осел; коза, привязанная к колышку, щиплет испанский газон и синий чертополох. Смеются полуголые дети. На тропинках нарисованы клетки – здесь дети играют в «котел».

Под вечер, когда заходящее солнце низко стелет свои багряные лучи, по дорогам в ложбинах не спеша возвращаются с пастбищ коровы. Они останавливаются под негодующий лай овчарок, покусывая ветки живой изгороди, зеленеющей по обе стороны дороги. Пустынные мысы западного побережья уходят волнистой грядой в море; кое-где на них покачиваются одинокие тамариндовые деревца. Меркнувшее небо сквозит между каменными глыбами гигантских стен на вершинах холмов, и кажутся они зубцами черного кружева. Слушая шум ветра в этом безлюдье, начинаешь ощущать, как беспредельна даль.

VIII. Порт Сен-Пьер

Порт Сен-Пьер, главный город Гернсея, был прежде застроен деревянными домами с резьбой, вывезенными из Сен-Мало. На Большой улице и доныне цел красивый каменный дом XVI века.

Порт Сен-Пьер – вольная гавань. Город спускается ярусами по долинам и холмам, – они теснятся в художественном беспорядке вокруг Старой гавани и словно зажаты в кулаке великана. Овраги превращены в улицы; лестницы сокращают путь. По крутым этим улицам галопом сбегают и взбираются сильные англо-нормандские лошади, запряженные в экипажи.

На площади, под открытым небом, прямо на мостовой сидят торговки, поливаемые зимним ливнем, а в нескольких шагах высится бронзовая статуя какого-то принца. На Джерсее за год выпадает двенадцать дюймов осадков, а на Гернсее – десять. Рыботорговцы в большем почете, чем огородники: в рыбных рядах обширного крытого рынка – мраморные столы, на них во всем своем великолепии красуется гернсейский улов, а он иной раз достоин удивления.

Общественной библиотеки нет и в помине. Есть техническое и литературное общество. Есть колежа. Церкви на каждом шагу. Как только церковь построена, она предлагается на утверждение «господам членам совета». По улицам нередко проезжают телеги, груженные стрельчатыми оконными рамами, – дар такой-то церкви от такого-то плотника.

Есть суд. Судьи в лиловых мантиях громогласно выносят приговоры. В прошлом веке мясникам не дозволялось продавать ни фунта говядины или баранины, пока судейские не брали свою долю.

Бесчисленные сектантские молельни соперничают с официальной церковью. Зайдите в такую молельню, и вы услышите, как крестьянин поясняет собравшимся, что такое несторианство, то есть рассказывает о неуловимом различии между матерью Христовой и божьей матерью, или же поучает, что бог-отец всемогущ, а сын его – лишь подобие всемогущества; все это очень напоминает абеярову ересь. Здесь полно католиков ирландцев, весьма нетерпимых, поэтому на теологических дискуссиях знаками препинания подчас служат увесистые удары истинно христианского кулака.

Воскресное безделье – закон. По воскресеньям разрешается все, кроме стакана пива. Если бы в «святой день субботний» вас одолела жажда, вы просто привели бы в негодование почтеннейшего Амоса Шика с Гайстрит – обладателя патента на торговлю элем и сидром. Закон воскресенья: пой. но не пей. Лишь в молитве произносится «господи». Вообще же говорится «милостивец». God[2 - Бог (англ.)] заменяется словом good[3 - Добрый (англ.)]. Молоденькая француженка, учительница пансиона, воскликнула, поднимая упавшие ножницы: «Ах, господи!» – и ее выгнали за то, что она «всуе упомянула имя божье». Здесь еще веет духом Библии, а не Евангелия.

Есть в городе и театр. На захолустной улице видишь калитку, через нееходишь в какую-то прихожую – таков подъезд. По архитектуре театр смахивает на сарай. Сатана здесь не в почете, и живется ему неважно. Напротив театра – еще одна резиденция для той же персоны: тюрьма.

На северном холме в Касл Карей (ошибка: надо было бы говорить Карей Касл) собрана ценнейшая коллекция картин, и все больше кисти испанских мастеров. Если бы она принадлежала обществу, там был бы настоящий музей. В некоторых аристократических домах сохранились любопытнейшие образчики узорных голландских изразцов, украшавших камин в домике царя Петра в Саардаме, и редкостная фаянсовая облицовка стен, что по-португальски зовется *azulejos*; эти изысканные фаянсовые изделия – произведения старинного искусства, ныне восстановленного и усовершенствованного благодаря людям, подобным доктору Лассалю, фабрикам вроде фабрики Премьер и живописцам по керамике – мастерам Дейку и Деверсу.

Шоссе д'Антен Джерсея именуется Краснобульонской улицей. Сен-Жерменское предместье Гернсея называется Роэ. Здесь много красивых прямых улиц, повсюду сады, дома утопают в зелени. В порту Сен-Пьер столько же деревьев, сколько крыш; гнезд больше, чем домов, и больше птичьего гомона, чем уличного шума. Предместье Роэ внушительно, как аристократические кварталы Лондона, все в нем – белизна и опрятность.

Пересеките овраг, перейдите Миль-стрит, сверните в проход, зияющий, будто расщелина, меж двумя высокими домами, поднимитесь по узкой и длинной извилистой лестнице с шаткими ступенями – и вот вы в настоящем бедуйском селении: ветхие домишки, немощные улочки в рытвинах, обгорелые чердаки, обвалившиеся стены, заброшенное жилье без окон и дверей, заросшее бурьяном, балки, загородившие улицу, развалины, вставшие на пути; то тут, то

там жили лачуга, голые дети, бледные женщины; можно подумать, что вы попали в Заачу.

В порту Сен-Пьер часовщик зовется часовником, оценщик на торгах зовется аукционером, маляр – живописцем, штукатур – замазчиком, мозольный оператор – мозольщиком, повар – кухарем, в дверь не стучатся, а «ударяют». Некая г-жа Пескот именуется «агентка-таможенщица и корабельная поставщица». Брадобрей сообщил в своей цирюльне о смерти Веллингтона в таких словах: «Начальник солдатни преставился».

Женщины ходят из дома в дом, перепродавая всякую мелочь, купленную в лавках и на рынках; заниматься этим ремеслом называется по-здешнему «коробейничать». Коробейницы очень бедны и с превеликим трудом выручают несколько дублей в день. Вот как говорила одна из них: «Ну и повезло мне: за неделю целых семь су отложила на черный день». Мой приятель как-то подарил такой коробейнице пять франков; она сказала: «Благодарю вас, сударь, теперь-то я закуплю товар оптом».

В мае месяце в порту появляются яхты; рейд кишит увеселительными судами; почти все они оснащены, как шхуны, а на некоторых паровые машины. Иной владелец тратит на яхту сто тысяч франков в месяц.

Крикет процветает, а бокс сходит на нет. Широко распространены общества трезвости, что, надо заметить, весьма полезно. Они устраивают процессии и несут свои хоругви с чисто масонской торжественностью, это приводит в умиление даже кабатчиков. Сами трактирщицы, прислуживая пьяницам, говорят: «Опрокиньте стаканчик, и довольно. Нечего дуть бутылками».

Островитяне красивы, здоровы и добродушны. Городская тюрьма нередко пустует. На Рождество тюремщик, если есть арестанты, устраивает для них праздник, по-семейному.

Местные архитектурные вкусы незыблемы; порт Сен-Пьер верен королеве, Библии и опускающим окнам; летом мужчины купаются голыми, купаться в белье неприлично, оно подчеркивает наготу.

Здесь мамы – мастерицы наряжать детей: нет ничего милее этих изящных детских костюмчиков! По улицам дети ходят одни – трогательная и отрадная

доверчивость. Ребятишки постарше ведут за руку малышей.

Гернсей подражает парижским модам. Правда, не во всем. Иногда родство с Англией сказывается в любви к пунцовому и ярко-синему цветам. И все же мы подслушали, как одна местная портниха, противница алого и кубового цвета, наставляя гернсейскую модницу, сделала претонкое замечание: «Вот цвет аютиных глазок я нахожу вполне приличным и вполне дамским цветом».

Гернсейские корабельных дел мастера славятся; верфи забиты парусниками, стоящими на ремонте. Суда вытаскивают на сушу под звуки флейты. «От флейтиста проку больше, чем от иного работника», – говорят мастера плотничьего дела.

В порту Сен-Пьер, как в Дьеппе, есть свой Полле и, как в Лондоне, – свой Стренд. Человек светский не выйдет на улицу с папкой или бумагами под мышкой, зато в субботу самолично отправляется с корзинкой на рынок. В честь некоей коронованной особы, посетившей порт Сен-Пьер проездом, была воздвигнута башня. Людей хоронят в черте города. По обеим сторонам Школьной улицы тянутся два кладбища. Могильный памятник, поставленный в феврале 1610 года, стал частью ограды.

Иврез, сквер с изумрудным газоном и купами деревьев, не уступит живописнейшим уголкам Елисейских полей в Париже, но тут в придачу море. На красиво убранных витринах магазина «Аркады» читаешь широковещательную рекламу: «Здесь продаются духи, одобренные 6-м артиллерийским полком».

По городу во всех направлениях снуют тележки, нагруженные бочками с пивом или мешками с каменным углем. То и дело наталкиваешься на такие объявления: «Здесь по-прежнему отпускается во временное пользование племенной бык». «Здесь по самой высокой цене покупаются лоскутья, свинец, стекло, кости». «Здесь продается молодой круглый отборный картофель». «Продаются подпорки для гороха, несколько тонн овсяной соломы для сечки, полный комплект аглицких дверных приборов для гостиной, а также откормленный боров. Обращаться: ферма «Моя услада. Сен-Жак». «Продается хорошая свежая мякина, желтая морковь сотнями и исправная французская клистирная трубка. Обращаться на мельницу, что у лестницы Сент-Андре». «Здесь воспрещается потрошить рыбу и сваливать отбросы». «Продается дойная ослица» и т. д. и т. д.

IX. Джерсей, Ориньи, Серк

Острова Ла-Манша – это частицы Франции, упавшие в море и подобранные Англией. Вот почему трудно определить национальность островитян.

Джерсейцы и гернсейцы сделались англичанами, конечно, не без своего ведома, но они, сами того не ведая, – французы. Впрочем, если б они и знали об этом, то пожелали бы забыть, что отчасти и доказывает тот французский язык, на котором они говорят.

Архипелаг состоит из четырех островов: двух больших – Джерсея и Гернсея, и двух малых – Ориньи и Серка, не считая Ортаха, Каскэ, Эрма, Жет-У и других мелких островов. Население этой древней Галлии охотно наделяет названия островов и рифов звуком у. Близ Ориньи – Бюр-У, близ Серка – Брек-У, близ Гернсея – Ли-У и Жет-У, близ Джерсея – Экре-У, близ Гранвилля – Пир-У. Есть также мыс Уг, залив Уг, Яблоновый Уг и Умэ. Есть остров Шузей, подводный камень Шуас и т. д. Ноу, этот достопримечательный корень древнего языка, встречается повсюду: *houe* – волна, *huae* – гиканье, *hure* – кабанья голова, *hourque* – голландское парусное судно, *houre* – старинное название эшафота, *houx* – терновник, *houperon* – акула, *hurlemenl* – рычание, *hulottt*, *chouette* – сова, сыч (отсюда слово *chouan* – шуан) и т. д.; он звучит в двух словах, выражающих бесконечность, – *unda* и *unde*[4 - *Unda* – волна; *unde* – откуда (лат.)]. Он чувствуется в двух словах, выражающих сомнение, – *ou* и *o?*[5 - *Ou* – или; *o?* – где (фр.)].

Серк равен половине Ориньи, Ориньи – четверти Гернсея, Гернсей – двум третям Джерсея. А сам остров Джерсей по величине – Лондон. На Францию пошло бы две тысячи семьсот Джерсеев. Весьма сведущий агроном-практик Шарасеп подсчитал, что если бы пашни во Франции так же хорошо обрабатывались, как на Джерсее, то они прокормили бы двести семьдесят миллионов человек, всю Европу. Серк, самый маленький из четырех островов, всех красивей; Джерсей всех больше и всех привлекательней, а суровый и живописный Гернсей сходен и с тем и с другим. На Серке есть серебряный рудник, но он не разрабатывается, ибо добыча незначительна. На Джерсее пятьдесят тысяч жителей; на Гернсее тридцать тысяч; на Ориньи четыре тысячи пятьсот; на Серке шестьсот; на Ли-У один человек. С острова на остров, с Ориньи на Гернсей, а с Гернсея на Джерсей – шаг шагнуть в семимильных сапогах. Пролив между Гернсеем и Эрмом называется «Малой улицей», а между Эрмом и Серком – «Большой улицей».

Ближайший выступ французского материка – мыс Фламанвиль. Из Шербурга до Гернсея доносятся пушечные залпы, а в Шербург с Гернсея раскаты грома.

Грозы в Ла-Маншском архипелаге, как мы говорили, ужасны. Архипелаги – царство ветров. Каждый пролив меж островами становится поддувальным мехом. Это закон, полезный для тех, кто на суше, и вредный для тех, кто в море. Ветер уносит миазмы и приносит кораблекрушения. Закон этот действует на нормандских островах, как и на других архипелагах. Холера едва коснулась Гернсея и Джерсея. Зато в Средние века на Гернсее свирепствовала такая лютая чума, что бальи сжег все архивы, дабы пресечь заразу.

Во Франции эти острова зачастую называют «английскими островами», а в Англии – «нормандскими островами». Ла-Маншские острова чеканят свою монету, но только медную. Еще сохранилась римская дорога, которая вела из Кутанса на Джерсей.

В 709 году, как мы уже говорили, океан оторвал Джерсей от Франции. Волны поглотили двенадцать приходов. Дворянские семьи, живущие ныне в Нормандии, все еще сеньоры этих приходов, но собственность, на которую они имеют «священное право», канула в воду; со священными правами это частенько случается.

Х. История. Предания. Религия

Все шесть исконных гернсейских приходов принадлежали одному сеньору – виконту Котантенскому Неелю, сраженному в битве при Дюнах в 1047 году. Тогда, по словам Дюмарсе, на островах Ла-Манша был вулкан. Дата появления двенадцати приходов на Джерсее запечатлена в Черной книге кутанского кафедрального собора. Сеньор Брикбека носил титул гернсейского барона. Ориньи был ленным владением Генриха Мастера. Джерсей был дважды под игом разбойников – Цезаря и Роллона.

Возглас «аро» – призыв к герцогу (Ах, Роллон!), если только слово это не происходит от саксонского *haran* – «кричать». Возглас «аро» повторяют трижды, коленопреклоненно, на проезжей дороге, и все, кто его слышит, бросают работу до той поры, пока справедливость не будет восстановлена.

До Роллона, герцога нормандцев, владычествовал на архипелаге Саломон, король бретонцев. Поэтому на Джерсее многое от Нормандии, а на Гернсее – от Бретани. Природа там отражает историю: на Джерсее больше лугов, на Гернсее больше скал; Джерсей зеленее, Гернсей суровее.

Дворянство обороняло архипелаг. На Ориньи от владений графа Эссекского остались развалины, Эссекский замок. На Джерсее сохранился замок Монторгейль, а на Гернсее – замок Корнэ. Замок Корнэ был построен на скале Хольм, то есть Шлем. Та же метафоричность в названии островов Каскэ – Каски. Корнэ был осажден пикардийским пиратом Эсташем, а Монторгейль – Дюгескленом. Крепости, подобно женщинам, любят похвалиться тем, кто домогался победы над ними, если он – знаменитость.

Некий папа в XV веке объявил Джерсей и Гернсей нейтральными. Но он имел в виду войну, а не раскол. Кальвинизм, который проповедовал на Джерсее Пьер Морис, а на Гернсее Никола Бодуэн, проник на Нормандский архипелаг в 1563 году. Он там процветал, как и ученье Лютера, но ныне и то и другое притесняется методическим учением, а это нарост на протестантстве, которому принадлежит будущее Англии.

Подробность, достойная внимания: церквей на архипелаге тьма, храмы на каждом шагу. Перед этим бледнеет даже набожность католиков; в каком-нибудь уголке джерсейской или гернсейской земли насчитаешь часовен больше, чем в любом, равном по величине, уголке земли испанской или итальянской. Часовни методистов, методистов-догматиков, методистов объединенных, методистов независимых, баптистов, пресвитерианцев, мелленаров, квакеров, библейских христиан, плимутских братьев, свободно верующих и т. д., не считая англиканской епископальной церкви и римско-католической. На Джерсее есть даже мормонская часовня. Библии ортодоксальные узнаются по тому, что Сатана там пишется с маленькой буквы. И поделом ему.

Кстати о Сатане: здесь ненавистен Вольтер. Имя Вольтера стало, видимо, одним из обозначений Сатаны. Стоит завести речь о Вольтере, и все раздоры прекращаются, мормон приходит к согласию с англиканином, все секты дышат общей ненавистью; гнев порождает единомыслие. Анафема Вольтеру – точка пересечения всех разновидностей протестантства. Примечательно, что католики ругают Вольтера, а протестанты его клянут. Женева перещеголяла Рим. И у проклятий есть своя восходящая гамма. Ни Калас, ни Сирвен, ни красноречивые

страницы, написанные Вольтером против драгонад, роли не играют. Вольтер отрицал догматы, вот в чем суть. Он взял под защиту протестантов, но оскорбил протестантство. Ортодоксальные протестанты платят ему неблагодарностью. Однажды в Сент-Элье кто-то задумал выступить публично с призывом к сбору пожертвований и был предупрежден, что сбор сорвется, если будет упомянуто имя Вольтера. Пока не умолкнет голос прошлого, Вольтера будут отвергать. Чего только о нем не говорят! Ему отказывают в гениальности, в таланте, в уме. На старости лет его оскорбляли, над ним надругались после смерти. Ему суждено вечно возбуждать споры. В этом слава его. Да и можно ли говорить о Вольтере хладнокровно и беспристрастно? Когда человек выше своих современников, когда он – воплощение прогресса, ему приходится иметь дело не с критикой, а с ненавистью.

XI. Разбойники и святые былых времен

Цикладские острова образуют круг; острова Ла-Маншского архипелага – треугольник. Когда смотришь на карту нормандских островов, – а карта изображает то, что человек видит с высоты птичьего полета, – на ней выступает треугольный отрезок морской поверхности; вершины его: остров Ориньи, отмечающий северный угол треугольника, Гернсей – западный его угол и Джерсей – южный. Вокруг каждого из трех островов-патриархов целый выводок островков. Близ Ориньи – Бюр-У, Ортах и Каскэ; близ Гернсея – Эрм, Жет-У и Ли-У; Джерсей развернулся в сторону Франции дугой Сент-Обенской бухты, и к ней, будто два роя пчел к улью, в синеве вод, сливающейся с лазурью небес, устремляются две разбросанные, но четкие группы островков – Греле и Менкье. В центре архипелага словно перемычка между Гернсеем и Джерсеем лежит островок Серк, а рядом с ним – Бек-У и Козий остров. Сравнение Цикладских островов с нормандскими, несомненно, поразило бы последователей мистико-мифологического учения времен Реставрации, которые, следуя за Экштейном, стали приверженцами де Местра; они усмотрели бы тут символический смысл: округлый эллинский архипелаг, *ore rotundo*; Ла-Маншский архипелаг – заостренный, причудливый, коварный, резко очерченный; там – все умиротворяет, здесь – все настораживает; недаром там Греция, а здесь Нормандия.

Некогда, в доисторические времена, ламаншские острова были островами-хищниками. Первые островитяне, вероятно, принадлежали к первобытным

людям с недоразвитой нижней челюстью, останки которых находят близ Мулен-Гиньон. Полгода они питались рыбой и ракушками, полгода дарами моря. Они грабили родные берега, и это было источником их существования. Они признавали лишь два времени года: «время рыбной ловли» и «время кораблекрушений»; так, гренландцы называют лето «охотой на оленя», а зиму – «охотой на тюленя». Все эти острова, позднее ставшие нормандскими, были покрыты зарослями репейника, колючего кустарника, норами зверей и логовищами пиратов. «Крысиное и разбойничье царство» – по яркому определению одного древнего летописца-островитянина. Настала пора римского владычества, но римляне немного сделали для внедрения честности: распиная на кресте пиратов, они все же отмечали «Фуриналии» – праздник воров. Праздник этот до сих пор справляется у нас в некоторых деревнях 25 июля, а в городах – круглый год.

Джерсей, Серк и Гернсей назывались некогда Анж, Сарж и Бисарж. Ориньи именовался – Реданэ, а быть может, и Танэ. Легенда гласит, что на Крысином острове, *insula rattorum*, от скрещения кроликов-самцов и крыс-самок появилась на свет морская свинка, *Turkey conu*[6 - Турецкий кролик (англ.)]. Если верить Фюретьеру, аббату из Шаливуа, упрекавшему Лафонтена в том, что тот не отличает бревна от срубленного дерева, Франция долго не замечала Ориньи у своего побережья. Правда, Ориньи занимает в истории Нормандии весьма скромное место. Рабле, однако, знал Нормандский архипелаг, ибо он упоминает Эрм и Серк, который именует островом Сер. Он пишет: «Заверяю вас, что земли здешние подобны островам Сер и Эрм, меж Бретанью и Англией, что лицеизрел я некогда...» (издание 1558 года, Лион, с. 423).

Острова Каскэ – роковое место кораблекрушений. Лет двести тому назад англичане вылавливали там пушки со дна морского. Одна из них, покрытая устрицами и раковинами, хранится в Валоньском музее. Эрм – это *eremos*, пустынь. Святой Тугдуаль, друг св. Сансона, проводил там дни свои в молитвах, как св. Маглуар на острове Серк. Легенда о подвижниках, живших на этих скалистых островах, создала ореол вокруг архипелага. Элье молился на Джерсее, а Маркуф среди утесов Кальвадоса. В те времена отшельник Эпархий, совершавший свой подвиг в ангулемских пещерах, стал уже святым Сибардом, анахорет Кресцентий, живя в непроходимой чаще Тревских лесов, низверг храм Дианы, неотступно взирая на него целых пять лет. На Серке находилось убежище Святого Маглуара, его *jonad naomk*, там-то он и сочинил псалом на День всех святых, переделанный Сантейлем: *Coelo quos eadem gloria consecrat*[7 - Которых посвящает небу та же слава (лат.)]. Оттуда же он забрасывал саксов камнями, когда появление их разбойничьих кораблей дважды помешало его

молитвенному экстазу. Вносил тревогу в жизнь архипелага в ту пору и казык кельтской колонии, амваридур. Иногда Маглуар пускался вплавь на Гернсей потолковать с гернсейским мактиерном Ниву, который слыл пророком. Однажды Маглуар, свершив чудо, дал обет не есть рыбы. Кроме того, дабы не поощрять дурные нравы даже среди собак и не наводить монахов на греховные помыслы, он изгнал с острова Серк всех сук; закон этот в силе и ныне. Вообще св. Маглуар оказал архипелагу множество услуг. Он отправился на Джерсей образумить местных жителей, у которых велся пагубный обычай рядиться на святках в шкуры разных животных в честь Митры. Святой Маглуар искоренил эти нечестивые забавы. Его останки были похищены монахами монастыря Леон-де-Динан в годы правления Номиноэ, вассала Карла Лысого. Все эти факты документально подтверждены болландистами в Житии св. Маркульфа и в истории церкви аббата Тригана. У Виктриса Руанского, друга Мартина Турского, был свой грот на Серке; этому острову в XI веке принадлежало Монтебургское аббатство. В наши дни Серк – феод, ставший недвижимой собственностью сорока бывших арендаторов.

XII. Местные особенности

На каждом острове своя монета, свое наречие, свои правители и свои предубеждения. Джерсейцы боятся француза-землевладельца: а вдруг ему вздумается купить весь остров! На Джерсее иностранцам воспрещается покупать землю, а на Гернсее разрешается. Зато на острове Джерсей не так строго соблюдают религиозные обряды, как на Гернсее, и по воскресеньям джерсейцам живется гораздо привольнее, чем гернсейцам. В порту Сен-Пьер Библии придерживаются строже, чем в Сент-Элье. Покупка земельных угодий на Гернсее – предприятие сложное и даже связана с некоторым риском, особенно для несведущего иностранца: покупатель в течение двадцати лет отвечает приобретенным имуществом за то деловое и финансовое положение продавца, каким оно было в день подписания купчей.

Еще большую неразбериху порождает разница в денежной системе и системе мер и весов. Шиллинг – старинный французский аскален или шелен – стоит двадцать пять су в Англии, двадцать шесть су на Джерсее и двадцать четыре су на Гернсее. «Палата мер и весов королевы» тоже с капризами: гернсейский фунт отличается от фунта джерсейского, а джерсейский – от английского. На Гернсее поля измеряются квадратными рутами, а руты першами. На Джерсее меры

другие. На Гернсее в ходу только французские деньги, а названия им дают английские. Франк именуется «десятипенсовиком». Несоответствие во всем доходит до того, что на архипелаге женщин больше, чем мужчин: на пять мужчин – шесть женщин.

У Гернсея много наименований, и некоторые из них археологической давности; для ученых он – «Гранозия», для верноподданных – «Малая Англия». И правда, его очертания напоминают Англию; Серк может сойти за Ирландию, но только Ирландию с восточной стороны. В гернсейских водах насчитывается до двухсот видов скорлупчатых и до сорока видов губок. Некогда римляне посвятили Гернсей Сатурну, а кельты – божеству Гвину; от этой перемены остров ничего не выиграл, ибо Гвин, как и Сатурн, – пожиратель детей. На острове действует старинный французский судебник от 1331 года, который называется Судная грамота; Джерсей, в свою очередь, обладает тремя-четырьмя скрижалями нормандского законодательства, судом по делам наследства, ведающим недвижимым имуществом, уголовным судом под названием «Катель», судом долговым – он же является торговым трибуналом, и «субботным судом» – судом исправительной полиции. Гернсей вывозит уксус, скот и фрукты, но особенно оживленно он распродает себя: основная статья его дохода – гипс и гранит, на Гернсее триста пять нежилых домов. Почему? Ответ, хотя бы о некоторых, найдется в одной из глав этой книги. Русские, побывавшие на Джерсее в начале нашего века, оставили по себе добрую память, джерсейский конь – помесь нормандской и донской лошади – превосходный быстроногий скакун, выносливый и в упряжи. Он мог бы нести Танкреда и мчать Мазепу.

В XVII веке разыгралась гражданская война между Гернсеем и замком Корнэ, ибо замок Корнэ держал сторону Стюартов, а Гернсей – Кромвеля. Представьте себе, что остров Сен-Луи в Париже вдруг объявил бы войну Ормской набережной! На Джерсее существуют две партии, партия Розы и партия Лавра – виги и тори в уменьшенном виде. Социальные перегородки, обособленность, иерархия, касты – по вкусу островитянам архипелага, метко названного Неведомой Нормандией. Гернсейцы, в частности, такие поклонники островов, что понаделали островков и среди населения; на вершине этого маленького социального строя – шестьдесят семейств, *sixty*; эти «шестьдесят» живут особняком; пониже – сорок семейств, *forty*, составляют другую группу, столь же отгородившуюся от всех и вся; вокруг – народ. Власть же, одновременно местная и английская, представлена в десяти приходах десятью приходскими священниками, двадцатью коннетаблями, ста шестьдесятю старшинами, королевским судом с прокурором и контрольной палатой, парламентом, именуемым «штатами», двенадцатью судьями, которые именуются «судейками», бальи, называемым

«бальифом», – balnivus el cogonator, говоря языком старинных хартий. Законом служит обычное нормандское право. Прокурор назначается королевским повелением, бальи – грамотой; существенное различие с точки зрения англичан. Кроме бальи, который вершит дела мирские, есть декан, который разрешает дела духовные, и губернатор, который управляет делами военного ведомства. Подробности о других должностных лицах указаны в «Списке высших чинов на острове».

XIII. Труды цивилизации на архипелаге

Джерсей – седьмой по значению английский порт. В 1845 году на Ла-Маншском архипелаге насчитывалось четыреста сорок кораблей вместимостью в сорок две тысячи тонн; ежегодно тысяча двести шестьдесят пять судов различных стран, и в их числе сто сорок два парохода ввозили шестьдесят тысяч тонн и вывозили пятьдесят четыре тысячи тонн. За последующие двадцать лет цифры эти более чем утроились.

Бумажные деньги имеют широкое хождение на островах, что приносит изрядную пользу. На Джерсее кто хочет, тот и выпускает банковые билеты, и если билеты без задержки оплачиваются наличными деньгами, то открывается новый банк. Банковский билет архипелага неизменно оценивается в фунт стерлингов. В тот день, когда англо-нормандцы уразумеют выгодность процентного банкового билета, он, без сомнения, войдет в их обиход, и любопытно будет наблюдать, как на нормандских островах претворится в жизнь то, что в Европе – утопия. В этом уголке земли произойдет тогда финансовый переворот в миниатюре.

Живой, здравый ум, смекалка, расторопность – характерные черты джерсейцев, которые при желании стали бы отменными французами. Сообразительности и здравомыслия у гернсейцев не меньше, но они тяжелее на подъем.

Это жизнеспособный и мужественный народ, просвещенный более, чем принято думать; немало в нем открываешь своеобразного. В здешних краях выходит несколько газет на английском и французском языках: шесть на Джерсее, четыре на Гернсее, – превосходные газеты большого формата. К этому властно, неудержимо влечет англичанина сама его природа. Представьте себе

необитаемый остров. Робинзон, попав туда, на следующий же день становится издателем газеты, а Пятница – ее подписчиком.

Наконец – объявления. Объявлений бездна, их расклеивают в неограниченном количестве. Прямо под открытым небом афиши всех цветов и размеров, прописные буквы, виньетки, надписи и рисунки. На стенах гернсейских домов изображается шестифутовый верзила с колоколом в руке: он бьет в набат, привлекая внимание публики к объявлению. Сейчас на Гернсее реклам больше, чем во всей Франции.

Печатное слово – источник жизни, жизни умственной, что и приводит к неожиданным последствиям: чтение уравнивает людей и придает достоинство их манере держаться. Иной раз по дороге в Сент-Элье или в порт Сен-Пьер заговоришь со спутником; он одет опрятно, на нем наглухо застегнутый сюртук, белоснежный воротничок; он заводит беседу о Джоне Брауне, осведомляется о Гарибальди. Кто же он? Священник? Отнюдь нет, погонщик волов. Некий современный писатель приезжает на Джерсей, заходит в бакалейную лавку[8 - Шарль Аспле, Бересфорд-стрит. – Примеч. автора.] и там в хорошо обставленной гостиной, примыкающей к магазину, видит собрание своих сочинений в переплете за стеклами большого и поместительного книжного шкафа, увенчанного бюстом Гомера.

XIV. Другие особенности

Острова Ла-Манша живут по-братски, однако любят и подтрунить друг над другом. Остров Ориньи в подчинении у Гернсея; порой это его сердит: ему хотелось бы переманить бальи и сделать Гернсей своим подначальным. Гернсей же, ничуть не гневаясь, дает отпор насмешливой песенкой:

Прячься, Пьер, прячься, Жан,

Гернсей даст взбучку вам.

Островитяне – дети моря, их шутки порой солоны, но не оскорбительны; тот, кто приписывает им грубость, не знает их. Сомневаемся, что между Гернсеем и Джерсеем происходил следующий пресловутый диалог: «Ты просто осел».

Реплика: «А ты жаба». Нормандский архипелаг не способен на такие любезности. Мы не допускаем, чтобы Вадий и Триссотен могли воплотиться в океанские острова.

Впрочем, и Ориньи имеет относительное значение. Для островов Каскэ – Ориньи это Лондон. Дочка сторожа с Угерского маяка, уроженка островов Каскэ, попала на Ориньи, когда ей исполнилось двадцать лет. Ее ошеломила городская суতোлка, и она стала проситься домой, в скалы. Ей еще не приводилось видеть быков. А заметив лошадь, она воскликнула: «Ну и здоровенная собака!»

На нормандских островах люди смолоду старики – не на самом деле, а по традиции. Вот разговор двух встречных: «А ведь умер тот старичок, который каждый день здесь проходил». – «Сколько же ему было лет?» – «Да верных тридцать шесть».

Женщины островной Нормандии, в упрек или в похвалу им будь это сказано, не из покладистых. Двум служанкам в доме трудно ужиться. Они ни за что не уступят друг другу. Поэтому в хозяйстве неполадки, неурядица, все идет вкривь и вкось. Служанки не позаботятся о хозяине, хотя неприязни к нему не питают. Хозяин выпутывается сам, как умеет. В 1852 году, после государственного переворота, некая французская семья, поселившаяся на Джерсее, взяла в услужение кухарку родом из Сен-Брелада и горничную родом из Булей Бэя. Как-то декабрьским утром хозяин дома проснулся на рассвете и обнаружил, что дверь, выходящая на проезжую дорогу, открыта настежь, а служанок и след простыл. Женщины неладились, перессорились, собрали ночью пожитки и, по видимому, не без основания считая, что их труды оплачены, разошлись в разные стороны, бросив спящих хозяев и открытый дом. Одна сказала другой: «Не могу жить с пьянчужкой», – на что другая ответила: «Не могу жить с воровкой».

«Гляди в оба на десять» – вот старинная местная поговорка. Что она означает? А то, что если вы нанимаете батрака или служанку, то не спускайте глаз с их десяти пальцев. Это совет скряги-хозяина, продиктованный исконным недоверием к исконной лени. Дидро рассказывает, что как-то – он жил тогда в Голландии – к нему явились вставлять стекло пять мастеровых: один тащил новое стекло, другой замазку, третий ведро с водой, четвертый лопаточку, пятый тряпку. Потрудившись впятером два дня, они вставили стекло.

Такая нерадивость, надо заметить, – наследие Средневековья, она порождена крепостной неволей и подобна вялости креолов, порожденной рабством; этот

порок, общий для всех народов, в наше время под влиянием прогресса уже повсюду исчезает, а на ламаншских островах – быть может, скорее, чем где-либо. И трудолюбие, без которого немыслима безукоризненная честность, становится законом этих деятельных островных общин.

На архипелаге сохранились пережитки старины. Вот пример: «Протокол заседания ленного суда, имевшего место в Сент-Уэнском приходе, в доме господина Мальзара, в понедельник 22 мая 1854 года, в полдень.

Председательствовал сенешал, по правую руку коего сидел прево, по левую же – судебный пристав. На заседании присутствовал благородный кавалер, сеньор Морвиля и других владений, от коего находится в ленной зависимости часть прихода. Сенешал потребовал от прево присяги, сказав ему нижеследующее: «Клянись верой во всемогущего бога неукоснительно и честно выполнять возложенные на вас обязанности прево ленного суда в Морвильском владении и блюсти права сеньора». И означенный прево, возведя руку и отвесив поклон сеньору Морвиля, изрек: «Клянемся в том».

Говорят на Нормандском архипелаге своеобразно. Слово «приход» произносится «преход». Говорят: «Болесть в ногу вступила». Спросишь: «Как живете?» – ответят: «скриплю»; «ни шатко ни валко»; «как сыр в масле», а не: «плохо, так себе, хорошо»; «кручиниться» – вместо грустить; «разить» – дурно пахнуть; «нахозьяничать» – принести ущерб; «убираться» – прибрать в комнатах, мыть посуду. Лохань, частенько полная помоев, – «ваза». Про пьяного говорят, что он «в хмельниках». Промокнуть – «отсыреть». Впасть в хандру – «заблажить». Девушка – «проказница». Передник – «занавеска», скатерть – «столешник», платье – «одежина», карман – «мешочек», сундук – «укладка», кочан капусты – «головка», шкаф – «платяник», гроб – «смертный ларь», подарки – «гостинцы», шоссе – «укат», маска – «личина», пилюли – «катышки». Вместо скоро говорят – «погодя». Если рынок небогат, подвозу мало, говорят: «рыба и овощи в редкости». Судиться, строить, путешествовать, жить широко, принимать гостей, давать балы – «деньги переводить» (в Бельгии и французской Голландии – «расточать»). «Знатный» – одно из самых распространенных слов местного диалекта. Все, что удается, – идет «знатно». Кухарка приносит с рынка «знатную тушку баранины». Откормленная утка – «знатная уточка», жирный гусь – «знатный гусак». В общепринятом судебском лексиконе тоже свой привкус. Судебное дело, прошение, законопроект «солят» в канцелярии. Отец, выдавая дочь замуж, не обязан больше заботиться о ней, «раз она под прикрытием мужа».

По нормандским обычаям, беременная, но незамужняя женщина всенародно оглашает имя отца своего ребенка. Случается, что она хитрит и выбирает отца повыгодней. Обычай этот имеет свои неприятные стороны.

Старожилы архипелага, пожалуй, и неповинны в том французском языке, на котором они разговаривают.

Мы уже упоминали, что лет пятнадцать тому назад на Джерсее поселилось много французов (между прочим, здесь никто не мог понять, отчего они покинули родину, некоторые звали их «взбунтовавшимися господами»). Одного из эмигрантов посетил старик – учитель французского языка, эльзасец, давно проживавший, как он сообщил, в здешних краях. Он пришел с женой. Учитель не очень одобрительно отзывался о нормандско-французском говоре, то есть о ламаншском наречии. Вошел он с такими словами:

– Весьма трудно научать их французский. Тут свой местный наречие.

– Как так наречие?

– Ну да, местный наречие.

– А! Наречие?

– Ну да, наречие.

Учитель продолжал жаловаться на «местный наречие». Жена сделала ему какое-то замечание. Он обернулся и сказал ей:

– Не устраивайте брачный сцена.

XV. Старина и обломки старины. Обычаи, законы и нравы

Надо сказать, что в наше время на каждом нормандском острове есть коллеж и многочисленные школы, есть превосходные преподаватели – и французы, и

гернсейцы, и джерсейцы.

Местное наречие, на которое нападал учитель эльзасец, – настоящий язык, вполне заслуживающий внимания. Наречие это полноценно, очень богато, своеобразно и бросает не яркий, но верный свет на истоки французского языка. Есть здесь и свои ученые лингвисты, среди них Метивье – тот, что перевел на гернсейское наречие Библию, – такой же знаток кельтско-нормандского языка, как аббат Элисагарей – испано-баскского.

На острове Гернсее сохранились часовенка VIII века с каменной крышей, а у кладбищенских ворот галльская статуя VI века. Нечто удивительное, единственное в своем роде. Есть и еще нечто единственное в своем роде, – это потомок герцога Роллона, весьма достойный джентльмен и мирный обыватель архипелага. Он снисходит до того, что называет королеву Викторию кузиной.

Происхождение его от Роллона, говорят, доказано, и тут нет ничего невероятного.

На островах дорожат родовыми гербами. Однажды мы слышали, как некая дама, г-жа М., осыпала упреками род г-жи Д.: «Они присвоили наши гербарии и украсили ими свои гробницы».

Крестьянин говорит «мои предки».

Цветок лилии – излюбленный цветок на островах. Англия, не брезгуя, подбирает то, что выходит из моды во Франции. Лилии красуются почти во всех палисадниках.

Неравные браки – здесь тема щекотливая. Не знаю хорошо, где именно, кажется, на Ориньи, наследник древнего рода виноторговцев вступил в неравный брак с дочерью безродного шапочника; негодование было всеобщим, островок в один голос порицал недостойного сына, а некая весьма уважаемая дама воскликнула: «Ну не горькая ли это чаша для родителей?» Перед этим бледнеет трагическое негодование пфальцской принцессы, упрекавшей кузину, вступившую в брак с принцем Тенгри, за то, что она «опустилась до какого-то Монморанси».

Стоит вам хоть раз пройти под руку с женщиной, и весь Гернсей заговорит о том, что вы помолвлены. Новобрачная всю неделю после свадьбы выходит из

дома только в церковь. Недолгое заточение служит приправой к медовому месяцу. Впрочем, некоторая стыдливость тут вполне уместна. Бракосочетание требует до того мало формальностей, что подчас о нем никто и не знает. Каэнь слышал на острове Джерсей такой разговор между престарелой мамашей и сорокалетней дочкой: «Почему ты не выходишь за Стивенса?» – «Вам, значит, хочется, матушка, чтобы я второй раз за него вышла?» – «Как так?» – «Да мы уж месяца четыре как обвенчаны».

Гернсейский суд в октябре 1863 года приговорил некую девицу к полутора месяцам тюремного заключения «за непослушание отцу».

XVI. Продолжение перечня особенностей

На островах Ла-Манша пока еще красуются только две статуи: на Гернсее статуя «принца-супруга», а на Джерсее статуя «Золотого короля», – ей дали это название, но никому не ведомо, чью именно особу она увековечила. Она стоит на Главной площади в Сент-Элье. Хоть она и безыменная, а все же статуя, и это льстит самолюбию обывателя: вдруг она и на самом деле воздвигнута в честь какой-нибудь знаменитости! Ничто столь медленно не выходит из недр земли, как статуя, а иной раз ничто столь быстро не вырастает. Если это не дуб, значит – гриб. Шекспир все еще пребывает в ожидании своей статуи в Англии, а Беккариа – в Италии, зато г-н Дюпен, по-видимому, скоро дождетсЯ своей статуи во Франции. Велико пристрастие к почестям, публично воздаваемым людям, прославившим отчизну: в Лондоне, например, волнение, восхищение, сожаление толпы, облеченной в траур, возрастали раз от разу на трех похоронах: Веллингтона, Пальмерстона и боксера Тома Сайерса.

На Джерсее есть «Холм висельников», чего нет на Гернсее. Лет шестьдесят тому назад на Джерсее был повешен человек, укравший из ящика стола двенадцать су; правда, в Англии тогда же повесили тринадцатилетнего мальчика, стащившего пирожок, а во Франции гильотинировали безвинного Лезюрка. Вот она, смертная казнь, во всей своей красе!

Ныне Джерсей, более передовой, чем Лондон, не потерпит виселицы. Смертная казнь там негласно упразднена.

В тюрьмах учинен строжайший надзор за чтением. Узнику дозволено читать только Библию. В 1830 году французу по фамилии Беас, приговоренному к повешению, разрешили читать трагедии Вольтера. Теперь не потерпели бы такого безобразия. Предпоследний смертный приговор на Гернсее вынесен Беасу, Тапнеру – последний, и да будет он последним.

До 1825 года гернсейский балли получал те же тридцать турецких ливров ежегодно, что и во времена Эдуарда III, то есть около пятидесяти франков. Теперь он получает триста фунтов стерлингов. На Джерсее королевский суд называется «толчией». Женщина, участница процесса, называется «актрисой». На Гернсее в ходу наказание плетьюми; на Джерсее осужденного запирают в железную клетку. Мощи святых высмеивают, зато обожествляют старые сапоги Карла II. Их благоговейно хранят в Сент-Уэнском замке. Десятинный сбор до сих пор в силе. Бродишь по городу и наталкиваешься на склады сборщиков десятины. Сбор окороками, кажется, упразднен, но сбор курами производится неукоснительно. Пишущий эти строки ежегодно жертвует английской королеве две курицы.

Размер налога устанавливается несколько необычно: он взимается со всего капитала плательщика – действительного и предполагаемого, – и помеха эта отпугивает от острова людей богатых. Так, г-н Ротшильд, живи он на Гернсее в хорошеньком коттедже, купленном тысяч за двадцать франков, платил бы ежегодно миллион пятьсот тысяч франков налога. Нужно прибавить, что если бы он жил на острове всего лишь пять месяцев в году, то не платил бы ничего. Только шестой месяц угрожает карману.

Весне здесь нет конца. Бывает и зима, бывает, конечно, и лето, но все тут в меру: ни сенегальского зноя, ни сибирских морозов. Острова Ла-Манша заменяют Англии Иерские острова. Сюда посылают на поправку слабогрудых сынов Альбиона. Наконец, гернсейские приходы, например, Сен-Мартенский, слывят «Малой Ниццей». Ни Тампэ, ни Жемнос, ни Валь Сюзон не превзойдут долину Во на Джерсее и долину Тальбо на Гернсее. Побываешь на южных склонах островов, и покажется, что нет на свете края зеленее, теплее и красочней, чем Нормандский архипелаг. Тут все словно создано для изысканного общества. На этих маленьких островках есть свой «большой свет». Звучит французская речь, как мы уже упоминали, но в салонах услышишь, например, такую фразу: «На их шляпке розан». А вообще болтовня эта – само очарование.

Джерсей в восторге от генерала Дона, а Гернсей в восторге от генерала Дойля. Оба были генералами на островах в начале века. На Джерсее есть Дон-стрит, на Гернсее – Дойль-род. Кроме того, гернсейцы соорудили в честь своего генерала огромный обелиск, который высится над морем и виден даже с островов Каскэ, а джерсейцы преподнесли своему любимцу кромлех. Этот кромлех стоял на холме близ Сент-Элье, там, где ныне находится форт Регент. Генерал Дон соблаговолил принять подношение, приказал разобрать кромлех по камню, отправить на берег, погрузить на фрегат и вывезти. А ведь этот памятник был поистине чудом ламаншских островов – единственный на всем архипелаге круглый кромлех; он видывал киммерийцев, сохранивших воспоминание о Тубал-Каине, подобно эскимосам, хранящим воспоминания о Пробишере; видывал кельтов, объем мозга которых, сравнительно с объемом мозга современного человека, можно выразить соотношением тринадцати к восемнадцати; видывал он диковинные деревянные башни, остовы которых попадают при раскопках и заставляют нас колебаться между этимологией слова *domjio*, по дю Канжу, и *domi-junctae*[9 - *Domjio* и *domi-junctae* – сокращенное или искаженное начертание латинского *domus juncta* – прилегающий, смежный дом, – легшего в основу французского слова *donjon* – главная башня феодального замка.], по Барлейкуру; видывал кремневые палицы и топоры друидов; видывал гигантские изображения Тетатеса, сплетенные из ивняка; он был древнее римской стены, он запечатлел четыре тысячи лет истории; ночью в лунном свете моряки издали замечали этот огромный каменный венец на высоком скалистом берегу Джерсея. А ныне он грудой обломков валяется в глухом углу какого-нибудь Йоркшира.

XVII. Совместимость крайностей

На архипелаге еще в силе право первородства, в силе десятинный сбор, и деление на приходы, и права сеньоров, и сам сеньор – владыка лена и владыка замка; в силе еще возглас «аро»: «после обычной молитвы, открывающей судебное заседание, в присутствии господ присяжных, состоялся разбор дела между дворянином Николаем и мелешским сеньором Годфреем по поводу возгласа «аро». (Джерсей, 1864 год.) В силе турецкий ливр и ввод во владение по праву наследования, и вывод из владения, и право отчуждения лена, и ленная зависимость, и право выкупа родового имения; жива сама старина. Друг друга величают: «государь мой». Есть бальи, есть сенешалы, сотники, двадцатники, старшины. В Сент-Совере сохранилась двадцатина, в Сент-Уэне – сбор с урожая фруктов. Ежегодно коннетабли объезжают приходы и намечают места для

прокладки проселочных дорог. Во главе их виконт «с королевской першей в руке». До полудня по-прежнему отведен час для молитвы. Рождество, Пасха, Иванов и Михайлов дни – узаконенные сроки платежей. Недвижимое имущество не продают, а «вручают». Можно услышать такой диалог в зале судебного заседания: «Судья! Тот ли это день и час, здесь ли указанное место разбирательства дел, о коих сообщалось ленным и поместным судом?» – «Да». – «Аминь». – «Аминь». Законом предусматривается случай, «когда мужик вздумал бы отрицать, что данный ему надел входит в родовое владение сеньора». Существует «право сеньора на случайные доходы, найденные клады, на поборы с жениха и невесты и т. д.». Существует «право, по которому сеньор располагает чужим имуществом в качестве охранителя его, доколе не явится законный его владелец». Существуют вызов в суд для подтвердительного свидетельства, свидетельского показания, и двойного свидетельского показания, тяжбы, ввод во владение леном, вольные поместья, королевское право на доходы с вакантных епископств.

Подлинное Средневековье, скажете вы: нет, подлинная свобода. Приезжайте, живите, существуйте. Идите куда угодно, делайте что угодно и будьте кем угодно. Никто не вправе узнавать вашу фамилию. Вы верующий? Проповедуйте свою веру. Есть у вас знамя своих убеждений? Поднимите его. Где? Да среди улицы. Оно белое? Пусть так. Синее? Отлично. Красное? Хороший цвет. Вам угодно обличать власть имущих? Говорите с любой уличной тумбы. Хотите открыто объединиться в союз? Объединяйтесь. Сколько же человек? Да сколько вам вздумается. Количество их ограничено? Никаких ограничений. Вам хочется собрать народ? Пожалуйста! Где? На площади. А если я ополчусь против королевской власти? Нас это не касается. А если мне вздумается расклеивать объявления? Стены к вашим услугам. Думайте, говорите, пишите, печатайте, произносите речи – все это дело ваше.

Все слушать и все читать – значит все говорить и все писать. Следовательно, полная независимость слова и печати. Если хотите, будьте издателем; если хотите, будьте проповедником; если можете, будьте первосвященником. Становитесь папой, это в вашей власти. Только придумайте вероисповедание. Откройте нового бога и будьте его пророком. Никто этому не удивится. Если встретится надобность, полисмены окажут вам содействие. Помех не существует. Свобода во всем – величественная картина! Люди обсуждают решение суда. Они отчитывают священника и судят судью. В газетах печатают: «Вчера суд вынес несправедливый приговор». К возможной судебной ошибке, как это ни удивительно, снисхождений нет. Тут все имеют право оспаривать и человеческие законы и небесные откровения. Трудно представить себе большую

независимость личности. Каждый сам себе хозяин – не по закону, а согласно нравам и обычаям. И это право быть себе хозяином непоколебимо и настолько вошло в жизнь, что его, так сказать, уже и не замечают. Оно всем доступно; оно незаметно, неразлично и необходимо, как воздух. В то же время все «лояльны». Обыватели здесь из тщеславия желают быть верноподданными. Вообще же царит и правит XIX век. Он врывается во все окна и двери уцелевшего Средневековья. Старинное нормандское законодательство кое-где пронизали лучи свободы; все ветхое здание озарено светом. Не найти края, где так неустойчивы пережитки старины. От истории – старозаветность архипелага; просвещение и промышленность делают его современным. Здоровое дыхание народа избавляет его от косности. Однако это ничуть не мешает процветать какому-нибудь сеньору из Мелеша. Феодалный строй на бумаге, на деле – республика. Явление неповторимое.

Один-единственный изъян есть в этой свободе, и о нем мы уже говорили. В Англии есть тиран. И этот английский тиран – тезка кредитора Дон-Жуана – Воскресенье. Англичане – народ, создавший поговорку: Time is money[10 - Время – деньги (англ.)]; тиран Воскресенье сокращает деловую неделю до шести дней, то есть отнимает у англичан седьмую часть их капитала. И сопротивляться ему невозможно. Воскресенье царствует в силу обычаев и нравов, а эти деспоты сильнее всех законов. Наследный принц Воскресенья, короля Англии, – сплин. Право Воскресенья наводит скуку. Оно закрывает мастерские, лаборатории, библиотеки, музеи, театры, чуть ли не сады и леса. Впрочем, повторяем: английское воскресенье не так гнетет Джерсей, как Гернсей. Если на Гернсее трактирщица француженка нальет в воскресенье стакан пива прохожему, то получит две недели тюремного заключения. Когда политический изгнанник, чтобы прокормить жену и детей, сапожничает по воскресеньям, ему приходится затворять ставни: если услышат постукивание молотка – оштрафуют. Как-то в воскресенье художник, только что приехавший из Парижа, зарисовывал, стоя у дороги, дерево; сотник, окликнув его, приказал немедленно прекратить «эго безобразия» и лишь из милости не посадил в «каталажку». Саутгемптонский цирюльник побрил в воскресенье какого-то прохожего и заплатил казне три фунта стерлингов. Все это вполне понятно, ибо сам Господь Бог в этот день предается отдыху.

И, однако, счастлив народ, свободный шесть дней в неделю. Если воскресенье – синоним рабства, то мы знаем нации, у которых на неделе семь воскресений.

Рано или поздно, но и эти оковы спадут. Конечно, ортодоксальный дух живуч. Конечно, процесс, возбужденный, например, против епископа Коленсо, – веское тому доказательство. Но подумайте, сколько прошла Англия по пути к свободе с тех времен, когда был предан суду Элиот, осмелившийся сказать, что на солнце существует жизнь.

Но и для предрассудков наступает осень, тогда они отмирают. Это час заката монархий. Час этот пробил.

Цивилизация Нормандского архипелага идет вперед, и ее не остановить; цивилизация самобытная, что отнюдь не мешает людям проявлять радушие и терпимость. В XVII веке на ней отразилась английская революция, а в XIX – французская. Дважды она была глубоко потрясена веянием независимости.

Впрочем, все архипелаги – вольные края. В этом сказывается таинственное воздействие моря и ветра.

XVIII. Убежище

Укротили свой нрав некогда грозные острова Ла-Манша. Рифы, опасные встарь, – ныне убежища. Край бедствий превратился в место спасения. К этим берегам пристает тот, кто избежал опасности. Сюда стекаются потерпевшие крушение – кто в час бури, а кто в час государственного переворота. Людей этих, морехода и изгнанника, обдавали пеной волны разных морей, но они отогреваются рядом в лучах здешнего ласкового солнца. Молодой Шатобриан, бедный, одинокий, безвестный, лишенный отчизны, как-то сидел на камне старинной гернсейской набережной. Пожилая женщина спросила его: «Не помочь ли вам, мой друг?» Какую отраду, какое неизъяснимое умиротворение испытывает француз-изгнанник, услышав на нормандских островах речь своих соплеменников! В ней воплощена самобытность нашего народа, в ней слышится и говор наших провинций, и возгласы наших гаваней, и песенки наших улиц и полей. *Reminiscitur Argos*[11 - Вспоминается Аргос (лат.)]. При Людовике XIV в древнюю нормандскую народность влилось, и не без пользы, немало настоящих французов, безукоризненно владевших родной речью; отмена Нантского эдикта возродила французский язык на архипелаге. Французы, покинувшие Францию, предпочитают влачить дни свои на Ла-Маншском архипелаге, а не в ином месте;

в томленье ожидания они строят воздушные замки среди скал; туда их манит родной язык; этим объясняется их выбор. Маркиз де Ривьер, которому Карл X однажды сказал; «Кстати, я забыл сообщить тебе, что я сделал тебя герцогом», проливал слезы умиления, глядя на джерсейские яблони, и предпочитал Пьер-род в Сент-Элье лондонской Оксфорд-стрит. На Пьер-род жил и герцог Анвильский, он же Роган и Ларошфуко. Однажды герцог Анвильский пригласил врача из Сент-Элье, чтобы посоветоваться с ним о своем здоровье, а заодно и о здоровье своей собаки, старой охотничьей таксы. Герцог попросил врача джерсейца выписать рецепт для таксы. Пес и не думал хворать – вельможа просто забавлялся. Врач назначил лекарство. На другой день герцог получил от него такой счет;

«За два врачебных совета:

1. Господину герцогу – один луидор.

2. Его собаке – десять луидоров».

Самою судьбою было предназначено островам Ла-Манша стать убежищем. Какие только люди, гонимые роком, не находили здесь пристанища, начиная с Карла II, когда он бежал от Кромвеля, и кончая герцогом Беррийским, которому суждено было встретиться с Лувелем! Два тысячелетия назад сюда вторгся Цезарь, обреченный на гибель от руки Брута. С XVII века эти острова в братских отношениях со всем миром и славятся гостеприимством. Нелицеприятность – свойство всех убежищ. Островитяне – роялисты, но они не отвергают побежденную республику; они гугеноты, но не отвергают гонимый католицизм. Более того, из любезности к нему, они тоже ненавидят Вольтера, о чем мы уже упоминали. И так как, по мнению многих, а в том числе и государственной церкви, возненавидеть врагов своего ближнего – значит возлюбить его, то католицизм, должно быть, считает, что он весьма любим на островах Ла-Манша.

Пришелец, избежавший гибели, нашедший здесь временное прибежище, не ведая, что готовит ему судьба, порою испытывает глубокую подавленность, ибо даже воздух в этих пустынных местах как будто полон отчаяния, но вдруг он чувствует ласковое мимолетное дуновение и оживает. Что это? Слово ли, звук ли, вздох ли, – нечто неуловимое. Но этого достаточно. Кто из нас не знает, как могущественно воздействие такого «нечто»!

Лет десять – двенадцать тому назад француз, недавно поселившийся на Гернсее, одиноко бродил по пескам западного побережья; ему было горестно, тоскливо; он думал об утраченной родине. По Парижу можно прогуливаться, по Гернсею – бродят. Зловещим казался ему остров. Туман висел плотной завесой, берег гудел под ударами волн, море швыряло на скалы громады пенистых валов, чернело враждебное небо. А ведь была весна, но, правда, у весны иное, суровое имя на море: «равноденствие». То пора ураганов, а не зефиров; и памятен майский день, когда морская пена под напором ветра взлетела футов на двадцать выше сигнальной мачты на самой верхней площадке замка Корнэ. У француз-изгнанника было такое ощущение, будто он в Англии: он не знал ни слова по-английски; старый, разодранный ветром английский флаг развевался над полуразрушенной башней в конце оголенного мыса; две-три хижины стояли вблизи, а вдаль уходили пески, пустоши, заросли вереска и колючего терновника; кое-где виднелись угловатые очертания низких батарей с широкими амбразурами; камни, обтесанные человеком, наводили такое же уныние, как скалы, обглоданные морем; француз чувствовал, что им овладевает глубокая скорбь, предвестница тоски по отчизне; он слушал, он смотрел – нигде ни просвета; бакланы в поисках добычи, бег облаков; весь горизонт в свинцовых тучах; необъятное сумрачно-серое полотнище, свисающее с зенита, призрак сплина в саване бурь; ни луча надежды, ни родной души; француз задумался, все мрачнее становилось у него на сердце; но вот он поднял голову, – из приоткрывшейся двери хижины до него донесся звонкий, чистый, нежный голос; то был детский голос, и он выводил по-французски:

Скорей в поля, скорей в леса.

Скорей навстречу милой!

XIX

Не все, что на архипелаге напоминает Францию, отраднo. Мой знакомый, гуляя в воскресенье по прекрасному острову Серк, услышал куплет старинного гугенотского гимна, – его весьма торжественно и по-кальвинистски сурово распевал хор верующих во дворе какой-то фермы:

Источают смрад, смрад, смрад

Все ученья мира.

Лишь Исус мой свят, свят, свят,

Источает миро.

Грустно до боли становится при мысли, что под слова этого гимна люди шли на смерть в Севеннах. В куплете столько комизма, что он вызывает невольную улыбку, а ведь он трагичен. Над ним смеются; над ним должно плакать. Боссюэ, один из сорока французских академиков, слушая его, кричал: «Убей! Убей!»

Впрочем, для религиозного фанатизма, отвратительного, когда он гонитель, трогательного и величественного, когда он гонимый, гимн, звучащий вовне, – ничто. Фанатики внемлют другому, властному и суровому гимну, который таинственно звучит в них самих, заглушая все слова. Религиозный фанатизм придавал нечто возвышенное даже смешному, и, какими бы ни были поэтические и прозаические творения его жрецов, он преображает и эту прозу и эту поэзию могучей и сокровенной гармонией веры. Он искупает уродливые слова величием принятых на себя испытаний и перенесенных мук. Недостаток поэтичности он восполняет чувством. Пусть пошлы рассказы о мученике, но в этом ли суть, если сам мученик исполнен благородства?

XX. Homo edax[12 - Человек-разрушитель (лат.).]

Время идет, и очертания острова меняются. Остров – творение океана. Вечна материя, но не форма ее. Смерть постоянно преображает все сущее, даже памятники, созданные природой, даже гранит. Все меняет форму, даже бесформенное. То, что создано морем, рушится, как все остальное.

Море воздвигает, море и уничтожает.

За полторы тысячи лет только между устьем Эльбы и устьем Рейна из двадцати трех островов затонуло семь. Попробуйте найти их в морской пучине. В XIII веке море создало Зюдерзее; в XV веке оно потопило двадцать два селения и вырыло бухту Бьер-Бош; в XVI веке оно поглотило Торум и неожиданно создало Долартский залив. Сто лет назад перед новым Бурдо, что ныне лепится на

обрыве нормандского побережья, еще можно было различить под водой колокольню древнего Бурдо, затопленного морем. Люди говорят, что в Экре-У во время отлива иногда видны деревья подводного друидического леса, затонувшего в VIII веке. Некогда Гернсей прилегал к Эрму, Эрм – к Серку, Серк – к Джерсею, а Джерсей – к Франции. Через пролив меж Францией и Джерсеем мог перепрыгнуть и ребенок. Когда епископ Кутанский отправлялся на Джерсей, в пролив бросали вязанку хвороста, дабы епископ не промочил ног.

Море строит и сносит, и человек помогает морю, но не в созидании, а в уничтожении.

Неустанно крошат все зубы времени, и неустанней всего – кирка человека. Человек – грызун. Он все переделывает, все изменяет то к лучшему, то к худшему. Тут искажает, там преображает. Легенда о Роландовой пещере не так фантастична, как кажется; вся природа в шрамах от ран, нанесенных ей человеком. На божественном творении следы труда человеческого. Как будто долг человека завершить то, что начато не им. Он приспособляет мироздание к нуждам человечества. Вот в чем его деятельность. У него хватает на это дерзости, можно даже сказать – безбожия. Участие его в такой работе порою оскорбительно. Тот, кто обречен на смерть, чья короткая жизнь лишь постепенное умирание, посягает на вечность. Человек пытается обуздать изменчивую природу во всех ее проявлениях, и стихию, жаждущую сомкнуться с другой стихией, и беспредельные силы морских пучин и недр земных. Он говорит им: «Ни с места!» Ему так удобно, и вселенная должна смириться. Ведь он хозяин вселенной. Он распоряжается в ней по своему усмотрению. Вселенная – материя первичная. Мир, творенье божье, – канва для человека.

Со всех сторон встают перед человеком преграды, но его ничто не останавливает. Он натиском берет все рубежи. Невозможное – предел, всегда отступающий перед ним.

Геологическая формация, основание которой – окаменевший ил всемирного потопа, а вершина – вечные снега, для человека просто стена, он пробивает ее и идет дальше. Он разрубает перешеек, буравит вулкан, обтачивает скалу, долбит горные породы, дробит на мелкие куски утес. Некогда он трудился для какого-нибудь Ксеркса; ныне он не так глуп и трудится для самого себя. Он поумнел, и это называется прогрессом. Человек работает, устраивая свой дом, а дом его – земля. Он передвигает, перемещает, упраздняет, сносит, отбрасывает, крушит, роет, копает, ломает, взрывает, крошит, стирает с лица земли одно, истребляет

другое и, разрушая, создает новое. Никаких колебаний ни перед чем: ни перед толщей земной, ни перед горным кряжем, ни перед силой материи, излучающей свет, ни перед величием природы. Когда громады мироздания в пределах его досягаемости, он пробивает в них брешь. Человека искушает возможность низвергнуть часть творений божьих, он с молотом в руках идет на приступ необъятного. Быть может, грядущее увидит разрушенные Альпы. Подчинись же, земля, своему муравью!

Ребенок, ломая игрушку, как будто ищет в ней душу. Так и человек как будто ищет душу земли.

Но не стоит преувеличивать наше могущество: что бы ни предпринял человек, общие черты мироздания неизменны; космос от него не зависит. Ему подчинены частности, а не целое. И да будет так. Ибо вселенная в руках провидения. Там управляют законы, нам не подвластные. То, что делает человек, не выходит за пределы земной поверхности. Человек прикрывает или обнажает землю; вырубая леса, он сбрасывает с нее одеяние. Но замедлить вращение земного шара вокруг своей оси, ускорить движение земного шара вокруг солнца, прибавить или отнять одну туазу из семиста восемнадцати тысяч миль пути, который ежедневно делает земля по своей орбите, изменить время равноденствия, не дать упасть капле дождя – невозможно. Что выше нас, то выше нас. Человек может изменить климат, но не время года. Заставьте-ка луну двигаться не по эклиптике!

Мечтатели, и среди них люди знаменитые, мечтали установить на земле вечную весну. Две крайности, лето и зима, происходят от наклонного положения земной оси по отношению к плоскости эклиптики, о которой мы только что сказали. Стоит только выпрямить ось земли, и времена года исчезнут. Что может быть проще! Вбейте на полюсе кол до самого центра земли, привяжите к нему цепь, подыщите поодаль от нашей планеты точку опоры, отправьте туда десять миллиардов упряжек по десяти миллиардов лошадей в каждой; они натянут цепь, земная ось выпрямится – вот вам и вожделенная весна. Сразу видно, что это дело пустячное.

Однако поищем рай в другом. Весна хороша, но свобода и справедливость много лучше. Рай – нечто духовное, а не вещественное.

От нас зависит стать свободными и справедливыми.

Душевный покой мы обретаем внутри себя. Лишь в нас самих заключена наша вечная весна.

XXI. Могущество камнеломов

Гернсей – треугольник. Королева островов-треугольников – Сицилия. Она принадлежала Нептуну, и каждый из ее трех мысов некогда был посвящен одному острию Нептунова трезубца. На трех ее мысах стояло по храму: в честь правого зубца – Декстры, среднего – Дубии и левого – Синистры. Декстра был символом рек, Синистра – морей, Дубия – дождей. Что бы ни говорил фараон Псаметих, угрожая Тразидею, царю Агригента, «сделать Сицилию круглой, как диск», человек не в силах переделать острова-треугольники, они сохраняют три своих скалистых мыса до тех пор, пока потоп, их создавший, вновь их не разрушит. В Сицилии мыс Пелор вечно будет обращен к Италии, мыс Пахинум – к Греции, а мыс Лилибе – к Африке; и на Гернсее Анкресский выступ вечно будет на севере, Пленмонский – на юго-западе, а Жербурский – на юго-востоке.

Но все же остров Гернсей разрушается. Хорош гернсейский гранит, покупайте! Береговые скалы идут с торгов. Жители распродают остров в розницу. Причудливый Чертов утес недавно сбыли за несколько фунтов стерлингов; когда истощится огромная каменоломня Виль-Бодю, работы перенесут в другое место.

В Англии большой спрос на гернсейский камень. Только для постройки плотины на Темзе потребуется двести тысяч тонн. Верноподданные, дорожа прочностью королевских памятников, весьма сожалеют, что пьедестал бронзовой статуи принца Альберта сделан из чизерингского гранита, а не из добротного гернсейского камня. И берега Гернсея осыпаются под ударами кирки. За какие-нибудь четыре года в порту Сен-Пьер на глазах жителей улицы Фалю исчезла целая гора.

В Америке происходит то же, что и в Европе. Вальпараисо собирается продавать с молотка промышленникам свою красу и славу – холмы, которым он обязан названием Райской долины.

Гернсеец-старожил не узнает своего острова. Он вправе сказать: «Мою родину подменили». Так говорил Веллингтон о Ватерлоо – своей второй родине.

Прибавьте, что на Гернсее, где некогда говорили по-французски, теперь говорят по-английски, а это тоже разрушение.

До 1805 года Гернсей как бы делился на два острова. Морской проток пересекал его от края до края, от восточной Кревельской гряды до гряды западной. Он соединялся на западе с морем против Фрекье и двух Со-Рокье; бухты, образованные им, довольно глубоко вдавались в сушу, – одна из них доходила даже до Сальтерна, и этот морской рукав назывался Бре-дю-Валль.

У Сен-Сансона в прошлом веке по обеим сторонам океанской улицы еще стояли на причале суда. Улица была неширокая, извилистая. Подобно голландцам, осушившим Гарлемский залив и превратившим его в безобразную равнину, гернсейцы засыпали Бре-дю-Валль, и ныне это луг. Океанскую улицу они превратили в тупик; тупик этот и есть порт Сен-Сансон.

XXII. Добросердечие островитян

Увидеть Нормандский архипелаг – значит полюбить его; жить там – значит проникнуться к нему уважением.

Благородный островной народ мал числом, но велик душою. Его душа – душа моря. Жители островов Ла-Манша – люди своеобразные. К «большой земле» они относятся с чувством превосходства и смотрят свысока на англичан, которые порой готовы обдать презрением «три-четыре цветочных горшка в луже соленой воды». Джерсей и Гернсей в долгу не остаются: «Мы – нормандцы, и мы – завоеватели Англии». Это забавно, но и достойно восхищения.

Наступит день, когда Париж введет в моду поездки на ламаншские острова и обогатит их, они этого заслуживают. С известностью к ним придет и процветание, и оно будет расти с каждым днем. Своеобразная прелесть архипелага – в сочетании климата, созданного для праздности, с населением, созданным для труда. Это – идиллия, воплощенная в судостроительной верфи. Нормандский архипелаг не так солнечен, как Циклады, но он зеленее; он зелен, как Оркады, но солнечнее. Нет здесь Астипалейского храма, зато есть кромлехи; нет Фингаловой пещеры, зато есть Серк. Мельница Уэ не уступит Трепору, Азетское побережье не уступит Трувильскому, а Племон – Этрета. Край

прекрасен, народ добросердечен, его история примечательна. Дикие берега дышат величием. На архипелаге свой апостол, Элье, свой поэт, Роберт Уэйс, свой герой, Пирсон. Многие виднейшие генералы и адмиралы Англии родились на архипелаге. Бедняки рыболовы необыкновенно щедры: при подписке, проведенной для оказания помощи потерпевшим от наводнения лионцам и голодающим манчестерцам, Джерсей и Гернсей пожертвовали больше Франции и Англии, конечно и пропорционально численности населения[13 - Вот, в частности, соотношение сумм, собранных по подписке для французов, потерпевших от наводнения 1856 года; Франция пожертвовала тридцать сантимов с человека, Англия – десять сантимов, Гернсей – тридцать восемь сантимов. – Примеч. автора.].

Островитяне, в старину контрабандисты, сохранили пренебрежение к риску и опасности. Они разъезжают по всему свету, всюду роятся, как пчелы. Ныне Нормандский архипелаг создает колонии, как некогда архипелаг греческий. И он гордится этим. В Австралии, в Калифорнии, на Цейлоне встречаешь гернсейцев и джерсейцев. В Северной Америке завелся Новый Джерсей, а Новый Гернсей – в Огайо. Эти англо-нормандцы, хоть в них и есть что-то от сектантской ограниченности, неизменно стремятся к прогрессу. Они суеверны, но не лишены здравого смысла. Разве не были когда-то французы разбойниками? А англичане – людоедами? Будем скромны и вспомним наших татуированных прародителей.

Там, где процветал разбой, теперь царит торговля. Чудесное превращение. Плоды работы веков, конечно, но и человека тоже. Крошечный архипелаг дал благородный пример. Маленькие эти народности подтверждают успех цивилизации. Будем же любить и почитать их. Подобные микромиры отражают в уменьшенном виде, но во всех фазах, развитие великой человеческой культуры. Джерсей, Гернсей, Ориньи, некогда разбойничьи притоны, – теперь мастерские. Там, где были подводные камни, ныне гавани.

Для наблюдателя ряда превращений, названье которому история, нет более захватывающего зрелища, чем медленный, постепенный рост и преображение невежественного приморского народа под солнцем цивилизации. Человек тьмы обернулся и пошел навстречу заре. Нет ничего величественнее, нет ничего трогательнее! Грабитель стал тружеником; дикарь стал гражданином; волк стал человеком. Быть может, он менее отважен, чем раньше? Нет. Но теперь отвага ведет его к свету. Как поразительна разница между нынешним береговым торговым судоходством, честным и товарищеским, и прежним бродяжничеством неуклюжих пиратских судов, взявших девизом: Homo homini monslrum![14 -

Человек человеку зверь (лат.)] Преграда обратилась в мост. Препятствие превратилось в помощь. Пираты стали лоцманами. И люди эти предприимчивее и отважнее, чем когда бы то ни было. Край по-прежнему слывет страной опасных приключений, но ныне там царит безукоризненная честность. Чем ничтожнее был он в начале пути, тем поразительнее его возвышение. Помет, приставший в гнезде к скорлупе яйца, не мешает нам любоваться широкими взмахами птичьих крыльев. Только добром поминается теперь разбойничье прошлое Нормандского архипелага. Смотришь на безмятежные паруса, радующие взор, на свет электрических маяков и фонарей с выпуклыми стеклами, торжественно указывающих путь судам сквозь лабиринты волн и подводных скал, и с чувством душевного умиротворения, всегда навеваемого успехами цивилизации, думаешь о былом, о свирепых морских разбойниках, украдкой, без компаса, скользивших в утлых суденышках по черным валам океана, у крутых мысов, тускло озаренных старинными жаровнями, бледное дрожащее пламя которых металось в железных клетках под порывами могучего ветра безграничных просторов.

Часть первая

Сьер Клюбен

Книга первая

Как создается дурная слава

I. Слово, написанное на белой странице

Сочельник 182... года на Гернсее был примечателен. В тот день шел снег. Морозная зима на островах Ла-Манша надолго остается в памяти людей, а снег здесь – целое событие.

В то рождественское утро ровно белела дорога, идущая вдоль моря от порта Сен-Пьер к Валлю. Снег падал с полуночи до самой зари. Часам к девяти, вскоре после восхода солнца, дорога была почти безлюдна, ибо еще не пришло время англиканам идти в сенсансонскую церковь, а методистам – в эльдадскую часовню. На всем пути от церкви до часовни виднелись только трое прохожих: мальчик, мужчина и женщина. Все трое шли поодаль друг от друга, и, казалось, их ничто не связывало. Мальчик, лет восьми на вид, остановился, с любопытством глядя на снег. Мужчина шел за женщиной шагах в ста. Они направлялись к Сен-Сансону. Мужчина, не то мастеровой, не то матрос, был еще молод. Будничная одежда – коричневая куртка из толстого сукна и штаны из просмоленной парусины – говорила о том, что он, несмотря на праздник, в церковь не собирался. Подошвы его неуклюжих башмаков из грубой кожи, подбитые большими гвоздями, оставляли на снегу отпечаток, скорее напоминавший тюремный замок, чем след человеческой ноги. Путница же принарядилась, как подобает для выхода в церковь: на ней была широкая теплая пелерина черного фламандского шелка, из-под которой виднелось прехорошенькое поплиновое платье в розовую и белую полоску; если бы не красные чулки, вы бы приняли ее за парижанку. Она шла быстрым и легким шагом, и по одной ее походке, которую еще не отяжелило бремя жизни, можно было угадать, что идет молоденькая девушка. Такая парящая, грациозная поступь свойственна девушкам в пору самого неуловимого из всех переходов – в пору отрочества, этого слияния вечерних и предрассветных сумерек, пробуждающейся женственности и уходящего детства. Мужчина ее не замечал.

Около купы вечнозеленых дубов, у конопляника, в том месте, что носит название «Нижние дома», она вдруг обернулась, и это движение заставило путника взглянуть на нее. Девушка остановилась, точно рассматривая его, нагнулась и как будто написала что-то пальцем на снегу. Потом она выпрямилась и пошла дальше еще быстрее, снова оглянулась, на этот раз смеясь, и исчезла, свернув с дороги влево, на тропу, окаймленную изгородью и ведущую к Льерскому замку. Когда она оглянулась во второй раз, путник узнал в ней Дерюшетту, одну из самых очаровательных девушек на острове.

Он и не думал догонять ее и лишь через несколько минут очутился возле купы дубов, у конопляника. Он забыл об исчезнувшей девушке, и если б в этот миг плеснул дельфин в море или малиновка выпорхнула из кустов, он, быть может, и пошел бы своей дорогой, заглядевшись на дельфина или малиновку. Но случилось так, что его глаза были опущены и взгляд упал на то место, где стояла девушка. На снегу отпечатались следы ее ножек, а рядом он прочел написанное ею слово: «Жильят».

То было его имя.

Его звали Жильятом.

Долго стоял он, долго смотрел на свое имя, на следы ножек, на снег. Потом пошел дальше, о чем-то раздумывая.

II. «Дом за околицей»

Жильят жил в сенсансонском приходе. Его там не любили. На это были причины.

Во-первых, его дом посещала «нечистая сила». И в пустынных закоулках, и на людных улицах Джерсея не только в деревне, но даже в городе иной раз наталкиваешься на дом, вход в который заколочен; дикий терновник сторожит дверь; доски, прибитые гвоздями, словно безобразные пластыри, залепили окна нижнего этажа; окна наверху закрыты и все же открыты – рамы заперты на задвижку, но стекла выбиты. Палисадник и двор, если они есть, заросли бурьяном, изгородь развалилась; если есть сад, его заглушили крапива, ежевика, болиголов; порой там увидишь диковинных букашек. Трубы потрескались, крыша осела, с улицы видно, что в комнатах запустенье, дерево сгнило, камень замшел. Обои отстали от стен. Увидишь там и расписные шпалеры, модные в старину, и грифов Империи, и матерчатую, затканную полумесяцами обивку времен Директории, балясины и полуколонны времен Людовика XIII. Плотная паутина, усеянная мухами, говорит о том, что никто не нарушает покоя пауков. Кое-где на полке заметишь разбитый кувшин. Вот он какой – дом, «облюбованный нечистой силой». Ночью его посещает дьявол.

Дом, как и человек, может превратиться в труп. Его убивает суеверие. Тогда он внушает ужас. Такие дома-мертвецы не редкость на островах Ла-Манша.

Деревенский и приморский житель побаивается дьявола. Население Ла-Манша, английского архипелага и французского приморья, осведомлено о нем весьма точно. У дьявола заместники во всем мире. Всем известно, что Бельфагор – посланник ада во Франции, Уджин – в Италии, Белиал – в Турции, Тамуз – в Испании, Мартинэ – в Швейцарии, а Маммон – в Англии. Чем Сатана не

император? Он – Цезарь. Дворец его поставлен на широкую ногу: Дагон – главный хлебодар; Сукор Бенот – старший евнух; Асмодей – банкомет; Кобал – директор театра, а Верделе – главный церемониймейстер; Ниббас – шут. Г-н Вьерус, ученый муж, знаток вампиризма и весьма сведущий демонограф, называет Ниббаса «выдающимся мастером пародий».

Нормандские рыбаки Ла-Манша, отправляясь в море, вынуждены из-за дьявольских наваждений принимать множество предосторожностей. Долго думали, что на огромной столовой скале Ортах, той, что стоит в открытом море между Ориньи и Каскэ, жил святой Маклу, и многие бывалые моряки утверждали, что частенько видели, как он восседал там, читая книгу. Потому-то они и преклоняли усердно колени, проплывая мимо скалы Ортах, пока легенда не рассеялась и не уступила место истине. Теперь уже стало известно, кто именно обжился на скале Ортах: не святой, а дьявол. Этот самый дьявол, по кличке Жохмус, и выдавал себя несколько веков за св. Маклу. Впрочем, сама церковь попадает иной раз впросак. Дьяволы Рагюэль, Орибель и Тобиэль причислялись к лику святых до 745 года, пока папа Захарий не почувал, кто они такие, и не выставил их вон. Подобные меры весьма полезны, но, чтобы их применять, надо хорошо разбираться во всякой чертовщине.

Старожилы рассказывают, – правда, эти факты относятся к седой старине, – что католическое население Нормандского архипелага было некогда, конечно помимо своей воли, еще в более тесных сношениях с дьяволом, чем гугенотское. Почему? Право, не знаем. Достоверно лишь, что дьявол очень досаждал сей малочисленной кучке верующих. Он воспылил нежностью к католикам и повадился к ним, из чего можно заключить, что дьявол скорее католик, чем протестант. Всего несноснее его дружелюбие проявлялось по ночам: он посещал супружеское ложе католиков, когда муж спал крепким сном, а жена дремала. Из-за этого бывали всякие недоразумения. Патулье полагал, что Вольтер зачат именно при таких обстоятельствах. И это вполне правдоподобно. Такие случаи к тому же хорошо известны и описаны в книгах заклинаний бесов под рубрикой: *De erroribus nocturnis et de semine diabolorum*[15 - О наваждениях ночных и о семени дьяволом (лат.)]. Дьявол особенно разгулялся в Сент-Элье в конце прошлого века, – надо полагать, кара эта была ниспослана за прегрешения революции. Последствия революционной бури неисчислимы. Как бы там ни было, но мысль, что дьявол может появиться, когда плохо видно, когда спишь, смущала многих благочестивых женщин. Не очень-то приятно произвести на свет какого-нибудь Вольтера. Одна из них, всполошившись, спросила духовника, нельзя ли вовремя выйти из щекотливого положения. «Дабы удостовериться, с кем имеете дело, с мужем или дьяволом, потрогайте его лоб, – отвечивал

духовник. – Стоит вам нащупать рога, и вы получите доказательство...» – «Чего?» – спросила женщина.

Прежде нечистая сила посещала дом Жильята, теперь этого не замечалось. Оттого-то его и стали подозревать еще больше. Ведь стоит колдуну поселиться в жилище, обжитом нечистью, и дьявол, зная, что дом попал в верные руки, вежливо освобождает его, являясь к колдуну лишь по зову, как врач.

Дом назывался «Домом за околицей». Он был построен на самом конце мыса, или, вернее, скалистой косы, которая образовала маленькую якорную стоянку в бухте Умэ-Паради. Там было очень глубоко. Дом одиноко стоял на косе, врезавшейся в море, и земли возле него было ровно столько, сколько надобно для садика. Порою, во время сильных приливов, садик затопляло. Меж портом Сен-Сансон и бухтой Умэ-Паради возвышался большой холм, на котором чернели громады башен, опутанные плющом, – то был замок Валль, или Архангела, заслонявший «Дом за околицей» от Сен-Сансона.

Колдуны на Гернсее далеко не редкость. Они занимаются своим ремеслом в некоторых приходах, и XIX век им не помеха. Что и говорить, их действия преступны. Они варят золото, в полночь собирают травы, напускают порчу на чужую скотину. Когда у них спрашивают совета, они велют принести пузырьки с «водою хворых» и бормочут: «Вода, сдается, заскучала». Однажды, в марте 1856 года, один из них выискал в такой «воде» семь чертей. Колдунов опасаются, да они и вправду опасны. Вот недавно один из них заколдовал булочника, «да и печь в придачу». Другой – уж такой пройдоха! – «заклеивал и старательно запечатывал конверты, а в них ничего-то и не было». А еще один дошел до того, что держал у себя дома на полке три бутылки с наклейками, помеченными буквой «Б». Эти чудовищные факты удостоверены. Иные колдуны услужливы и за две-три гинеи присвоят все ваши недуги. Потом катаются по кровати и вопят. А пока их корчит, вы удивляетесь: «Смотри-ка, из меня вся хворь вышла». Другие обмотают вас платком и вылечат от всех болезней. До того простое средство, что прямо диву даешься, как до сих пор никто до него не додумался. В прошлом веке по повелению гернсейского королевского суда колдунов бросали на кучу валежника и сжигали живьем. А в наше время их приговаривают к двум месяцам тюремного заключения – месяц на хлебе и воде, месяц в одиночной камере, для разнообразия. *Amant alterna catenae*[16 - Оковы любят перемены (лат.)].

В последний раз на Гернсее сжигали колдунов в 1747 году. В городе под казни отвели площадь на перекрестке Бордаж. С 1565 до 1700 года тут было сожжено

одиннадцать колдунов. Обычно злодеи сознавались. Сознаться им помогали пытки. Перекресток Бордаж оказал немало и других услуг обществу и религии. Там сжигали еретиков. При Марии Тюдор там сожгли в числе других гугенотов мать с двумя дочерьми; мать звалась Перотиной Маси. Одна из ее дочерей была беременна и родила в пламени костра. Хроника гласит: «Ее чрево лопнуло». Из чрева выпал живой ребенок; новорожденный выкатился из костра; некто, по имени Гуз, подобрал его. И бальи Элье Гослен, добрый католик, велел снова бросить ребенка в огонь.

III. «Твоей жене, когда ты женишься»

Вернемся к Жильяту.

В здешних краях рассказывают, что в конце революции на Гернсее поселилась женщина с ребенком. Может быть, англичанка, а может быть, и француженка. Гернсейское произношение и сельское правописание переделали ее фамилию в Жильят. Она жила вдвоем с мальчиком, который приходился ей, по словам одних, племянником, по словам других – сыном, иные говорили – внуком, а иные – что он и вовсе ей не родня. Денег у нее было немного, но на скромную жизнь хватало. Она купила лужок в Сержантэ и пашню в Рок-Креспель, близ Рокена. В «Доме за околицей» хозяйничала тогда нечистая сила. Он пустовал уже лет тридцать и разваливался. В сад слишком часто забегали морские волны, и он совсем не приносил плодов. Еще страшнее ночных шумов и огоньков в доме было вот что: если оставишь на камине с вечера моток пряжи, спицы и полную тарелку супу, то наутро, смотришь, суп съеден, тарелка пуста, а рядом с ней – пара связанных рукавиц. Домишко с дьяволом в придачу продавался за несколько фунтов стерлингов. Приезжая купила его, конечно, по наущению Сатаны. А может быть, из-за дешевизны.

Мало того, что она его купила, но она поселилась в нем вместе с мальчиком. И с этой минуты в доме все успокоилось. «По дому и жилец» – решила людская молва. Нечистая сила исчезла. На рассвете там уже не слышно было завываний, и вечером светилась лишь сальная свечка, зажженная хозяйкой. А ведь свеча ведьмы и факел дьявола – одно и то же. Гернсейцы довольствовались таким объяснением.

Хозяйка дома получала доход от своего клочка земли. У нее была хорошая корова, дававшая жирное молоко. Чужеземка разводила белую фасоль, капусту и картофель сорта «золотая капля». Она продавала, как все, «пастернак – бочками, лук – сотнями и бобы – мерками». Сама она не ходила на рынок, а поручала продавать урожай Гильберу Фалью в торговых рядах Сен-Сансона. Запись Фалью гласит, что однажды он продал для нее дюжину мер скороспелой картошки, под названием «трехмесячная».

Дом кое-как починили, он стал жилым; в комнатах протекало только во время сильных ливней. Дом был одноэтажный, с чердаком. Внизу было три комнаты – две спальни и столовая. На чердак вела узкая лесенка. Женщина занималась хозяйством и учила грамоте ребенка. В церковь она не ходила, поэтому, после всестороннего обсуждения, решили, что она француженка. «Лба не перекрестить» – дело не шуточное.

Словом, то были люди, никому не известные.

Она, вероятно, и была француженка. Вулканы разбрасывают камни, а революция – людей. Целые семьи раскидывает на дальние расстояния, их удел – жить на чужбине, связи разрываются, исчезают; люди словно с неба падают – кто в Англии, кто в Германии, кто в Америке. Они приводят в изумление коренных жителей. Откуда берутся незнакомцы? Их извергнул вулкан, дымящийся где-то вдали. Эти аэролиты, эти выброшенные, затерявшиеся существа, гонимые роком, получают разные наименования: их зовут эмигрантами, беглецами, искателями приключений. Если они приживаются, их терпят, если уходят, их провожают с радостью. Иногда это люди безобидные, чуждые изгнавшим их событиям, – женщины, во всяком случае, – они не таят ни злобы, ни ненависти; они занесены сюда помимо своей воли, словно метательные снаряды, и сами поражены этим. Они пускают корни как придется. Они никому не сделали зла и не могут понять, что с ними произошло. Я видел, как взрывом мины в воздух швырнуло жалкий пучок травы. Французская революция сильнее любого взрыва наносила такие отраженные удары.

Женщина, которую на Гернсее звали «тетка Жильят», вероятно, и была таким вот пучком травы.

Женщина старела, мальчик рос. Они жили замкнуто, их избегали. Они довольствовались обществом друг друга. «А кто нужен волчице с волчонком?» – эта фраза была еще одним доказательством благорасположения окружающих.

Мальчик превратился в юношу, юноша в мужчину, и тогда старуха скончалась, ибо омертвевшая кора древа жизни становится прахом. В наследство Жильяту она оставила луг в Сержанта, пашню в Рок-Креспеле, «Дом за околицей» и, как гласит официальная запись, «сто гиней золотом в паголенке», иными словами – в чулке. Дом был довольно хорошо обставлен: два дубовых ларя, две кровати, шесть стульев, стол, необходимая хозяйственная утварь, несколько книг на полке, а в углу самый обыкновенный сундучок, – его открыли, чтобы произвести опись. В этом сундучке, обитом порыжевшей кожей с узором из медных гвоздиков и оловянных звездочек, хранилось полное и новое женское приданое: сорочки, юбки из прекрасного дюнкеркского полотна, штуки шелковой материи на платья и листок бумаги, на котором было выведено рукой умершей: «Твоей жене, когда ты женишься».

Смерть легла тяжелым гнетом на оставшегося в живых. Он был нелюдим, теперь одичал. Мир опустел для него. Уединение стало одиночеством. Когда вас двое – жизнь терпима, когда ты один – кажется, что ее не вынести. У человека опускаются руки. Это первый шаг к отчаянию. Позднее он постигает, что долг – ряд уступок. Познаешь жизнь, познаешь смерть и смиряешься. Но это кровоточащее смирение.

Жильят был молод, и рана его затянулась. В юности сердечная плоть восстанавливается. Его печаль, постепенно тая, слилась с природой, придав ей какое-то новое очарование, отвлекла его от людей, приблизила к неодушевленным творениям и еще крепче сроднила его душу с одиночеством.

IV. Неприязнь

В приходе, как уже говорилось, Жильята не любили. Вполне естественно, что относились к нему недружелюбно. Поводов находилось множество. Прежде всего, – об этом мы только что упомянули, – причиной тому был дом, в котором он жил; потом – происхождение. Что представляла собой умершая? Как к ней попал мальчик? Местный люд не любит загадочности в пришлых. И одевался-то он, как мастеровой, а ведь мог бы жить, не работая, хоть богат и не был. Потом – огород, который он ухитрялся возделывать наперекор набегам моря во время равноденствия и собирать неплохие урожаи картофеля. А чтение тех толстенных книг, которые лежали на полке?

Были и другие причины.

Почему он жил уединенно? «Дом за околицей» стал чем-то вроде заразного барака: Жильята как бы держали в карантине; потому-то и было в порядке вещей, что люди удивлялись его одиночеству и обвиняли его в той пустоте, которую сами же вокруг него создавали.

В церкви он не бывал. Часто выходил из дому по ночам. Разговаривал с колдунами. Однажды видели, как он сидел на траве; взгляд у него был оторопелый. Он бродил возле дольмена в Анкресе и волшебных камней, разбросанных по округе. Уверяли, что он превежливо раскланивался с Поющей скалой. Он скупал всех птиц, которых ему приносили, и выпускал на волю. Он был учтив с обывателями Сен-Сансона, но охотно сворачивал в сторону, чтобы ни с кем не встречаться. Нередко выезжал в море рыбачить и всегда возвращался с уловом. Работал в саду по воскресеньям. Как-то у шотландских солдат, проходивших через Гернсей, он купил волынку и в сумерках играл на ней среди прибрежных скал. Движения его напоминали движения сеятеля. Все может случиться в тех краях, где живет такой человек.

Книги, которые остались после умершей и которые он читал, внушали опасение. Священник сенсансонского прихода, Жакмен Эрод, войдя в дом перед похоронами, прочел на корешках книг следующие названия: Словарь садовода, Кандид Вольтера, Что нужно знать народу о здоровье Тиссо. Некий французский дворянин, эмигрант, проживавший в Сен-Сансоне, сказал: «Разумеется, это тот самый Тиссо, который нес голову принцессы Ламбаль».

Высокочтимый пастырь обратил внимание на поистине мрачное и угрожающее заглавие одной из книг: *De rhubarfaro*.

Заметим, однако, что труд этот, судя по заглавию, был написан по-латыни, и вряд ли Жильят, не знавший латыни, читал книгу.

Но именно те книги, которые человек не читает, и являются тягчайшей уликой. Испанская инквизиция обсудила этот вопрос, и он не подлежит сомнению.

Впрочем, это было всего-навсего исследование доктора Тиленжиуса о ревене, напечатанное в Германии в 1679 году.

Кто бы поручился, что Жильят не занимается колдовством, ворожбой и приготовлением «приворотного зелья»? У него была пропасть всяких пузырьков.

Почему вечером, иногда до самой полуночи, он слонялся среди прибрежных утесов? Конечно, для разговора с лихими людьми, которые ночью бродят в тумане по морскому берегу.

Однажды он помог колдунье из Тортваля вытащить повозку, застрявшую в грязи. Старуху называли Дурочкой Гаи.

Когда на острове шла перепись населения, он ответил на вопрос о ремесле: «Рыболов, когда рыба ловится». Войдите в положение порядочных людей: кому понравится такой ответ?

Бедность и богатство – понятия относительные. Жильят владел клочком земли и домом и в сравнении с теми, у кого нет ничего, не был беден. Однажды, чтобы испытать Жильята, а верней всего из кокетства, – ведь есть такие женщины, которые не погнушаются выйти замуж и за дьявола, был бы он богат, – некая девица спросила Жильята: «Когда же вы, наконец, женитесь?» Он ответил: «Я женюсь, когда Поющая скала выйдет замуж».

Поющей скалой называется огромный камень, торчащий на коноплянике, рядом с усадьбой г-на Лемезюрье де Фри. За этим камнем нужен глаз да глаз. Кто его знает, что ему там надобно. Иногда на нем поет петух, а самого петуха не видно. Неспроста все это. Да и говорят, что скалу притащили на конопляник саргузеты, а это то же, что оборотни.

Если ночью, когда гремит гром и бушует ветер, ты увидишь людей, летающих в зареве молний среди облаков, помни: то оборотни. Женщина, живущая близ Большой дюны, водится с ними. Однажды вечером, когда на перекрестке собрались оборотни, эта самая женщина крикнула возчику, который не знал, по какой дороге ехать: «Спросите-ка у них, они народ славный, поболтать не прочь». Нечего и говорить, что эта женщина – ведьма.

Справедливый и ученый король Иаков I заставит, бывало, живьем сварить таких вот баб, отведаст навар и по вкусу определит: «Эта вот была ведьмой», или: «Нет, эта ведьмой не была».

Жаль, что у теперешних королей нет подобных талантов, доказывающих пользу королевской власти.

Жильят не без оснований слыл колдуном. Как-то полуночной порой, в грозу, Жильят подплыл один в лодке к Сонной скале, и люди слышали, что он спросил:

– Проход свободен?

И голос с вершины скал ответил:

– Вперед! Не трусь!

Не с кем ему говорить было, а ведь кто-то ему ответил. Как хотите, но это доказательство.

А еще раз, тоже в грозовой вечер, когда тьма была кромешная, близ Катио-Рок – двойной гряды скал, где по пятницам отплясывают ведьмы, козлы и разные духи, – люди распознали голос Жильята в таком страшном разговоре:

– Как поживает Везен Бровар? (Каменщик, недавно упавший с крыши.)

– Выходили.

– Черт возьми, а ведь откуда свалился, там место покруче, чем здесь. Диво, что костей не переломал.

– Ну и улов был на прошлой неделе!

– Получше, чем нынче.

– Еще бы! Ни рыбешки нет на рынке.

– Ветер здоровый.

– Людям не закинуть глубоко сетей.

– А как тетка Катерина?

– Что ей делается!

Уж конечно, эта самая Катерина была из оборотней.

По всему видно, что Жильят занимался колдовством. Во всяком случае, никто в этом не сомневался.

Частенько примечали, как он выливает из кружки воду на землю. Ну а когда вот так выплескиваешь воду на землю, выступают очертания дьявола.

У сенсансонской дороги, прямо против сторожевой башни номер первый, лежат три камня, сложенные лесенкой. Сейчас на ее верхней ступеньке ничего нет, раньше же там стоял крест, а быть может, и виселица. Вредные они, эти камни.

Люди, рассудительные и заслуживающие полного доверия, утверждают, что возле этих камней Жильят беседовал с жабой. Правда, на Гернсее жаб нет, на Гернсее попадаются только ужи, а на Джерсее – только жабы. И эта жаба, конечно, вплавь перебралась на Гернсей, чтобы потолковать с Жильятом. Разговор у них был дружеский.

Все эти случаи засвидетельствованы, и доказательством служит то, что камни лежат там и ныне. Маловеры могут их осмотреть, неподалеку от камней есть даже дом с такой вывеской: «Продаю и покупаю скот, живой и тушами, старые снасти, железо, кости, тряпье; плачу чистоганом, готов к услугам покупателей».

Только человек бессовестный станет оспаривать существование камней и дома. Все эти обстоятельства и вредили Жильяту.

Одни лишь неучи не знают, что гроза Ла-Манша – Король морских духов. Он страшное исчадие морей. Кто его увидит, непременно потерпит кораблекрушение между одним и другим Михайловым днем. Он мал, потому что он карлик, он глух, потому что он король. Ему ведомы имена тех, кто погиб в море, и места, где они покоятся. Он наизусть знает океанское кладбище. Широкие челюсти, узкий лоб, коренастое туловище, безобразный, отвислый живот, расплывшаяся зеленая рожа, шишковатый череп; коротконогим,

длинноруким, вместо ступней – плавники, вместо кистей – когтистые лапы; вот каков король. На лапах у него перепонки, а на плавниках шипы. Представьте себе рыбу-призрак с человеческим лицом. Его надобно заклясть или выловить из морских волн, иначе с ним не покончишь. А пока – жди от него беды. Встреча с ним не сулит ничего хорошего. Над вздыбленными волнами, за покровом тумана, виднеется тень, и это – живое существо: низколобое, курносое, уши приплюснутые, пасть непомерная, оскал редких серо-зеленых зубов, брови, изогнутые острым углом, и большие озорные глаза. При бледной вспышке молнии он кажется багровым, при яркой – мертвенно-бледным. У него мокрая и жесткая борода лопатой, она свисает на грудь, окутанную, будто пелериной, какой-то оболочкой, украшенной четырнадцатью раковинами – семью спереди и семью сзади. Раковины волшебные – это понятно тем, кто знает в них толк. Короля морских духов можно увидеть только в бушующем море. Он – зловещий шут бури. Он вырисовывается в тумане, шквале, дожде. Противно смотреть на его брюхо. Чешуйчатая скорлупа камзолом прикрывает его бока. Он покачивается на гребне набегающих валов, а они вскипают под напором ветра и извиваются, точно стружки под рубанком столяра. Он стоит в брызгах пены, и, если на горизонте появится гибнущее судно, его лицо, белесое пятно во тьме, озаряется блуждающей улыбкой, и безумный страшный король пускается в пляс. Зловещая встреча! В ту пору, когда Жильят занимал умы жителей Сен-Сансона, люди, недавно видевшие Короля морских духов, уверяли, что на его пелерине осталось всего лишь тринадцать раковин. Тринадцать! Он стал еще опаснее. Куда же делась четырнадцатая? Не подарил ли он ее кому-нибудь? И кому подарил? Никто не мог ответить, приходилось довольствоваться догадками. Несомненно одно: г-н Люпен-Мабье из Годена, человек с весом, землевладелец, платящий налог с восьмидесяти арпанов земли, готов был дать присягу в том, что Жильят держал в руке предиковинную раковину.

Нередко доводилось слышать, например, такой разговор между двумя крестьянами:

- Хорош у меня бычок, сосед, а?
- Не в меру жирен, по-моему.
- А ведь, пожалуй, твоя правда.
- Лучше пустить его на сало, чем на мясо.

- Жаль, черт возьми!

- А не сдается тебе, что его сглазил Жильят?

Случалось, что Жильят останавливался в поле перед хлебопашцем или у сада перед садовником и изрекал загадочные слова:

- Цветут чертовы удила, пора жать озимую рожь.

(Кстати, чертовы удила – это скабиоза.)

- Ясень распускается, заморозков больше не бойся.

- Летнее солнцестояние, чертополох в цвету.

- Нет дождей в июне, на хлеб ржа нападает. Берегись головни.

- Черешня наливается, берегись полнолуния.

- Если погода в шестой день новолуния такая же, как в четвертый или в пятый день, то она и будет такой весь месяц: девять раз из двенадцати в первом случае и одиннадцать раз из двенадцати во втором.

- Смотри в оба за соседом, затеявшим с тобой тяжбу. Остерегайся подвохов: дадут борову горячего молока – он околеет; потрут корове зубы пореем – она есть перестанет.

- Корюшка мечет икру, берегись лихорадки.

- Лягушка запрыгала, сей дыни.

- Лишайник цветет, сей ячмень.

- Липа цветет, коси луга.

- Серебристый тополь цветет, открывай парники.

– Табак цветет, закрывай теплицы.

И вот что ужасно: тому, кто следовал его советам, все удавалось.

Июньской ночью, когда Жильят играл на волынке в дюнах около Деми-де-Фонтенель, сорвался лов макрели.

Как – то вечером, во время отлива, на берегу перед «Домом за околицей» опрокинулась телега, груженная водорослями. Вероятно, Жильят боялся правосудия, – уж очень он старался поднять телегу, и сам снова ее нагрузил.

Когда у девочки по соседству завелись вши, он пошел в порт Сен-Пьер, вернулся с мазью и натер ею голову девчушки; вши исчезли, а это доказывает, что он сам их напустил.

Всем известно, что ворожкой можно напустить вшей на человека.

Говорили, что Жильят заглядывал в колодцы, а это при дурном глазе опасно; и в самом деле, в Аркюлоне, близ порта Сен-Пьер, в одном колодце испортилась вода. Хозяйка колодца, протягивая Жильяту полный стакан, сказала: «Погляди-ка на воду».

Жильят подтвердил: «Вода мутная. Верно». Хорошая женщина, питавшая на его счет подозрения, сказала: «Вылечи мне ее». Жильят стал спрашивать: есть ли во дворе хлев, есть ли сток в хлеву и не вытекает ли жидкость из стока неподалеку от колодца. Женщина на все ответила утвердительно. Жильят вошел в хлев, прочистил сток, отвел канаву, и вода в колодце стала хорошей. Ну, думай что хочешь, а ни с того ни с сего колодец испортился и вдруг снова наладился. Вот и решили, что случилось это неспроста, да и как, право, не поверить, что сам Жильят наслал порчу на воду?

Отправился Жильят на Джерсей, и кое-кто заметил, что он остановился на улице Аллер в предместье Сен-Клеман. Аллер же означает – выходец с того света.

В деревнях собирают сведения о человеке; эти сведения сопоставляют; вывод и есть общественное мнение.

Увидели как-то люди, что у Жильята пошла кровь носом. Этому придали особое значение. Некий шкипер, человек бывалый, объездивший чуть ли не весь белый свет, утверждал, что у тунгусских колдунов всегда идет кровь носом. Когда у человека идет кровь носом, знай, чем дело пахнет. Впрочем, люди рассудительные заметили, что примета, по которой определяют колдуна у тунгусов, может ничего не значить на Гернсее.

Незадолго до Михайлова дня видели, что Жильят остановился на лужайке близ конопляников Урио, которые тянулись вдоль проезжей дороги в Видклен. Он свистнул, и вмиг появился ворон, а за вороном – сорока. Было это засвидетельствовано лицом уважаемым, выбранным позднее в ту «дюжину» присяжных, коей доверили составить новую Опись королевских земельных владений.

В Амеле отыскались старухи, которые божились, что слышали недели за три до Страстного воскресенья, как ласточки на заре звали Жильята.

Надо добавить, что добротой он не отличался.

Случилось, что какой-то человек бил осла. Осел ни с места. Бедняга хозяин ткнул его несколько раз башмаком в живот, и осел упал. Жильят бросился поднимать его, но осел околел. И Жильят ни за что ни про что надавал затрещин бедняге хозяину.

А в другой раз увидел он, что мальчуган слезает с дерева и держит выводок недавно вылупившихся, бесперых галчат. Жильят отобрал выводок у мальчика и в злобе своей дошел до того, что водворил птенцов в гнездо.

Прохожие попрекнули его, а он молча показал на пернатых родителей: они с криком вились над деревом, возвратившись к гнезду. Он питал слабость к птицам, а по этой примете всегда угадаешь чернокнижника.

Любимая забава мальчишек – разорять гнезда чаек и поморников на прибрежных скалах. Они приносят домой уйму голубых, желтых и зеленых яиц; из скорлупы делают розетки для украшения очага. Береговые скалы отвесны, и дети иногда оступаются, падают и разбиваются насмерть. Но ведь нет ничего красивее ширмы с узорами из яичной скорлупы! Жильят только и думал, как бы

досадить другим. Он взбирался с опасностью для жизни по отвесным крутым утесам и подвешивал к ним соломенные чучела в старых шапках, всякие пугала, чтобы птицы не вили там гнезда, а значит, чтобы туда не лазили ребята.

Вот почему Жильята терпеть не могли в округе. А ведь это можно заслужить и не за такие дела.

V. Другие подозрительные черты Жильята

О Жильяте не было определенного мнения.

Вообще все считали его меченым, а некоторые – даже ведьмаком. Ведьмак – это сын женщины, рожденный ею от дьявола.

Когда женщина произведет на свет от мужа семь мальчишек-погодков, то седьмой и будет меченый. Разве только девчонка испортит дело и спутает мальчишечий ряд.

У меченого на какой-нибудь части тела родимое пятно в виде лилии, потому-то он исцеляет золотуху не хуже французских королей. Во всей Франции можно встретить меченых, особенно в Орлеанэ. В каждой деревне Гатинэ есть свой меченый. Больные мигом выздоравливают, если меченый дунет на язвы или заставит прикоснуться к своему родимому пятну – лилии. Лучше всего это получается в ночь на Страстную пятницу. Лет десять тому назад в провинции Гатинэ, в Орме, один человек, по прозванию Меченый красавец, врачевал золотуху. Вся провинция Босс ходила к нему за советом; а был он бондарь, по имени Фулон, и была у него лошадь да телега. Чтобы помешать его чарам, пришлось обратиться в полицию. У него цветок лилии был над сердцем. А у других меченых он попадает где угодно.

Меченые встречаются на Джерсее, на Ориньи и Гернсее. Это, конечно, связано с правами Франции на Нормандское герцогство. Иначе откуда бы взяться лилии?

На островах Ла-Манша тоже распространена золотуха, вот почему меченые необходимы.

Люди, которым случилось видеть Жильята, когда он купался в море, уверяли, будто у него на теле есть изображение лилии. Жильята стали расспрашивать, а он вместо ответа расхохотался, ибо он, как и все люди, иногда смеялся. С тех пор никто не видел, как он купается; он стал купаться лишь в опасных и уединенных местах, вероятно, по ночам, при свете луны. Согласитесь сами, разве это не подозрительно?

Люди, упорно утверждавшие, что он отпрыск дьявола, разумеется, ошибались. Им следовало бы знать, что сыновья дьявола встречаются только в Германии. Но в Валле и в Сен-Сансоне полвека назад царило полное невежество.

Допустить, что на Гернсее живет сын дьявола, было бы, конечно, преувеличением.

С Жильятом советовались именно потому, что он внушал боязнь. Крестьяне с опаской ходили к нему потолковать о своих недугах. В таком страхе таится доверие: чем подозрительнее относится крестьянин к врачу, тем вернее исцеление. Жильяту по наследству от умершей старухи достались всякие лекарства; он наделял ими больных людей и отказывался от денег. Он исцелял ногтееду травами; питье из одного его пузырька прекращало лихорадку. «Химик» из Сен-Сансона, который во Франции звался бы аптекарем, предполагал, что это отвар хинной корки. Даже недоброжелатели соглашались с тем, что Жильят приветлив с больными, когда речь шла о его обычных лекарствах; правда, он никому не хотел помочь как меченый, – бывало, золотушный попросит у Жильята позволения прикоснуться к его лилии, а он вместо ответа захлопнет дверь перед носом больного. Он упрямо отказывался совершить чудо, и это было просто смешно. Не будь колдуном, ну а уж если ты колдун, то занимайся своим делом.

Все относились к Жильяту неприязненно, но было одно-два исключения. Сьер Аандуа из Кло-Ландеса служил актуариусом в приходе порта Сен-Пьер, то есть вел и хранил книги для записи рождения, браков и смертей. Актуариус Аандуа кичился тем, что он потомок казначея Бретани Пьера Ланде, повешенного в 1485 году. Однажды сьер Аандуа заплыл слишком далеко в море и стал тонуть. Жильят бросился в воду, тоже чуть-чуть не утонул, но спас Аандуа. С того дня сьер Аандуа не говорил дурно о Жильяте. Тем, кто этому удивлялся, он отвечал: «Угодно вам иль нет, а я не могу гнушаться человеком, который зла мне не сделал, а, напротив, оказал услугу». Актуариус не прочь был даже подружиться с Жильятом. Сьер Аандуа, как человек без предрассудков, не верил в колдовство

и трунил над теми, кто боялся привидений. У него была лодка, он рыбачил в свободные часы для собственного удовольствия и никогда не видел ничего сверхъестественного, если не считать женщины в белом, прыгавшей по воде однажды ночью, да и то, может быть, она ему померещилась. Дурочка Гаи, колдунья из Тортваля, дала ему ладанку, которую надевают, чтобы отгонять злых духов; он издевался над ладанкой и знать не знал, что в ней находится, а все же носил ее и чувствовал себя в большей безопасности, когда она висела у него на шее.

Нашлись смельчаки, решившиеся по примеру съера Ландуа подтвердить некоторые смягчающие обстоятельства, некоторые явные достоинства Жильята, его трезвенность, воздержание от джина и табака, а иной раз даже расточали ему похвалы, говоря, что он «не курит, не пьет, не жует и не нюхает табак».

Но воздержанность ценна лишь при других качествах.

Люди относились к Жильяту неприязненно.

И все же, как меченый, он мог бы приносить пользу. Однажды, в Страстную пятницу, полночной порой, – а в этот день и час меченые врачуют всего удачней, – золотушные со всего острова, по наитию ли, по сговору ли, толпой явились к «Дому за околицей» и, умоляюще протягивая руки, стали просить Жильята исцелить их гноящиеся язвы. Он отказался наотрез. Тут-то и проявилось его бессердечие.

VI. Голландский ботик

Таков был Жильят.

Девушки считали его некрасивым.

Некрасивым он не был. Пожалуй, он был даже хорош собою. В его профиле было что-то напоминавшее варвара античных времен. Спящий, он походил на дакийца с колонны Траяна. Форма его маленьких, изящно вылепленных ушей говорила о необычайно тонком слухе. Между бровями залегла прямая, гордая складка,

свойственная человеку отважному и упорному. Уголки рта были опущены, и в этом таилось что-то горестное; линии выпуклого лба были чисты и благородны, ясные глаза смотрели твердо и зорко, но он щурился, как все рыбаки, привыкшие смотреть на переливчатый блеск волн. Он смеялся обаятельным мальчишеским смехом, и зубы его сверкали, как чистейшая слоновая кость. Но он до того загорел, что стал черным, как негр. Нельзя безнаказанно отдавать свою жизнь океану, бурям и ночи: в тридцать лет он казался сорокапятилетним. Суровую маску надели на него ветер и море.

Его прозвали Жильят-Лукавец.

Есть индусская притча: «Однажды Брама спросил у Силы»: «Что сильнее тебя?» И Сила ответила: «Ловкость». Есть китайская поговорка: «Чего бы не сделал лев, будь он обезьяной!» Жильят не был ни львом, ни обезьяной, но все его поступки подтверждали китайскую поговорку и индусскую притчу. Изумительная ловкость сочеталась у него с такой изобретательностью, что он, несмотря на средний рост и среднюю силу, поднимал тяжести под стать исполину и творил чудеса под стать атлету.

Это был настоящий гимнаст; левой рукой он владел так же хорошо, как и правой.

Он не охотился, но рыбачил. Щадил птиц, но не щадил рыб. Горе немым тварям! Он превосходно плавал.

Одиночество ведет к глубокомыслию или к отупению. Жильяту было свойственно и то и другое. Порой его брала какая-то оторопь, о чем мы уже говорили, и тогда он казался настоящим истуканом. Подчас же его взгляд бывал удивительно проникновенным. В древней Халдее встречались такие люди; иногда мгла, застилавшая разум пастуха, рассеивалась, и выступал маг.

А вообще он был простой человек, знавший грамоте. Быть может, он стоял на грани, отделяющей мечтателя от мыслителя. Мыслитель дерзает, мечтатель страждет. У простых людей, сжившихся с одиночеством, внутренний мир сложен. Неведомо для себя, они проникаются священным трепетом. Мрак, который окутывал разум Жильята, состоял почти в равной степени из двух начал, одинаково темных, но весьма различных: в самом Жильяте – невежественность, бессилие; вне его – тайна, беспредельность.

Он карабкался по скалам, взбирался по крутизне, в любую погоду, днем и ночью, плавал в водах архипелага, управлял первой попавшейся лодкой, подвергался опасности в губительных проливах и стал, не извлекая, впрочем, из этого выгоды, только ради прихоти и удовольствия, замечательным моряком.

Он был прирожденный лоцман. Настоящим лоцманом и бывает тот моряк, который ведет судно словно по морскому дну, а не по водной поверхности. Волна – препятствие внешнее, но оно постоянно усложняется подводным рельефом тех мест, по которым держит путь судно. Когда Жильянт носился над мелями и меж рифов Нормандского архипелага, казалось, что у него в голове начертана карта морского дна. Он знал все, и все было ему нипочем.

Он изучил баканы лучше, чем отдыхающие на них птицы. Он ясно различал, даже в тумане, неуловимые приметы четырех больших баканов – Кре, Алиганды, Трети, Сардретты. Он сразу опознавал столб с овальной верхушкой в Анфре, и трезубец в Руссе, и белый шар в Корбете, и черный шар в Лонг-Пьере; можно было не бояться, что он спутает крест у Губо со шпагой, стоящей на острие, – баканом Платты, а бакан-молот возле Барбе с ласточкиным хвостом – баканом близ Мулинэ.

Его редкостное знание морского дела во всем блеске обнаружилось в тот день, когда на Гернсее были устроены морские состязания, именуемые «регатой». Вот в чем заключалась задача: надо было без посторонней помощи провести четырехпарусную лодку из Сен-Сансона к острову Эрм, который расположен в одной миле от Гернсея, и вернуться с Эрма в Сен-Сансон. Любой рыбак сладит с четырехпарусным судном, трудности с виду не так велики, но умножали их, во-первых, особенности самой лодки, старомодной, широкодонной, пузатой – такие лодки, построенные на роттердамский манер, у моряков прошлого века звались «голландскими ботиками». Еще и теперь случается встретить в море образчик древнего голландского судостроения – широкобокую плоскодонку с двумя деревянными крыльями на левом и правом бортах; они, смотря по ветру, поочередно опускаются и заменяют киль. Во-вторых, обратный путь с Эрма, путь не легкий, с увесистым грузом – камнями. Туда шли порожняком, а обратно с поклажей. Призом в состязании был сам голландский ботик. Он предназначался победителю. Прежде он служил лоцманским судном; лоцман, который плавал на нем и водил его лет двадцать, был самым выносливым моряком Ла-Манша. После его смерти не нашлось никого, кто бы справился с лодкой, и решено было сделать ее призом на гонках. Ботик, хоть и был без палубы, имел свои преимущества и мог соблазнить опытного моряка. Мачта стояла в носовой части,

что увеличивало силу тяги парусов. Другое преимущество: мачта ничуть не мешала грузу. Крепкая была скорлупа, тяжелая, но вместительная, надежная в открытом море; что и говорить – лакомый кусочек! Стоило поспорить. Условия состязания были трудны, зато награда хороша. Явилось семь-восемь рыбаков, известных на острове силачей. Они по очереди пробовали свои силы; ни один не добрался до Эрма. Последний из состязавшихся был славен тем, что однажды в бурю на веслах прорвался через страшную морскую быстрину между Серком и Брек-У. А тут, обливаясь потом, он привел ботик обратно и сказал: «Дело немыслимое!» Тогда в лодку вскочил Жильят; он схватил весло, потом гроташкот и пустился в открытое море. Затем, не закрепляя шкота, – это было бы неосторожно, – и не выпуская его из рук, что позволяло ему управлять гротом, он, не давая суденышку дрейфовать, предоставил шкоту травиться через строп по воле ветра и схватил левой рукой румпель. Через три четверти часа он был на Эрме. А три часа спустя, хотя поднялся резкий боковой ветер с юга, лодка, управляемая Жильятом, вернулась в Сан-Сансон с грузом камней. Из удальства и озорства Жильят прихватил с Эрма и маленькую бронзовую пушку, из которой ежегодно, пятого ноября, на острове палили в знак радости по поводу смерти Гая Фокса.

Гай Фокс, – отметим мимоходом, – умер двести шестьдесят лет назад; вот пример затянувшегося ликования.

Жильят, перегруженный и переутомленный, ибо у него была лишняя поклажа – пушка Гая Фокса в лодке и южный ветер в парусах, привел, вернее притащил, ботик в Сен-Сансон.

Увидев это, месс Летъери крикнул: «Вот так молодец!»

И протянул руку Жильяту.

О мессе Летъери мы еще поговорим.

Бот был присужден Жильяту.

История эта ничуть не отразилась на его прозвище – Жильят-Лукавец.

Кое-кто заявил, что и удивляться тут нечему, ведь Жильят спрятал в судне ветку ирги. Но как это докажешь?

С того дня Жильят не расставался с ботиком. На своей неуклюжей лодке он отправлялся на рыбную ловлю. Он держал ее под самой стеной «Дома за околицей» в удобной бухточке, которой владел безраздельно. Под вечер, вскинув сеть на спину, он шел садом, затем, перемахнув через низкую каменную ограду, сбегал по скалам, прыгал в ботик и уходил в открытое море.

Он вылавливал много рыбы, и люди утверждали, что ветка ирги всегда была привязана к его судну. Ирга – то же, что кизильник. Никто этой ветки у Жильята не видел, но все в нее верили.

Лишнюю рыбу он не продавал, а дарил.

Бедняки рыбу брали, но на Жильята косились – всё из-за той же ветки. Потому что так делать не полагается. С морем плутовать нечего.

Он был не только рыбаком. Он изучил из врожденной склонности и ради развлечения три-четыре ремесла: был столяром, кузнецом, тележником, конопатчиком и даже отчасти механиком. Никто так хорошо не починил бы колеса, как он. Всю рыболовную снасть он изготовлял по собственному способу. В закутке «Дома за околицей» он соорудил маленький кузнечный горн и наковальню, и так как на ботике был лишь один якорь, то сам, своими руками, сделал второй. Якорь удался на славу; кольцо вышло нужной крепости, и Жильят, хоть и дошел до всего своим умом, с такой точностью рассчитал размер штока, что якорь не перевертывался.

Он запасся терпением и заменил все гвозди в обшивке лодки нагелями, чтобы ржавчина не изъела железа и не образовались дыры.

Таким образом, мореходные качества ботика стали гораздо лучше, Жильят пользовался этим и время от времени отправлялся на пустынные островки вроде Шузея или Каскэ, где проводил месяц-другой. Люди говорили: «Смотри-ка, Жильята совсем не видать». Это никого не огорчало.

VII. В жилище духов – жилец-духовидец

Жильят был мечтателем. Потому-то он был отважен, потому-то он был и робок. У него сложилось своеобразное представление о мире.

Быть может, он обладал склонностью к галлюцинациям и даром ясновидения. Какого-нибудь крестьянина, скажем, крестьянина Мартина галлюцинации преследуют точно так же, как, скажем, короля Генриха IV. Иногда непостижимое потрясает человеческий ум. Нежданно расступится мрак, покажется невидимое, и тьма сомкнется вновь. Видения порой преобразуют человека: погонщик верблюдов становится Магометом, а пастушка – Жанной д'Арк. Одиночество порождает возвышенные заблуждения. То дым неопалимой купины. Отсюда таинственная вспышка творческой мысли, превращающей врача в ясновидца, а поэта – в пророка; отсюда – Хорив, Кедрон, Онбос, и дурманящий вкус кастальского лавра, и откровения месяца Бузиона, отсюда – Пелейя в Додоне, Фемоноя в Дельфах, Трофоний в Лебадее, Езекииль на Кебаре, Иероним в Фиваиде. Чаще всего состояние ясновидения подавляет и ошеломляет человека. Существует священное отупение. Видения – бремя для факира, как зоб для кретина. Лютер, беседующий с бесами в виттенбергской мансарде, Паскаль, прячущийся от ада за ширмой в своем кабинете, негритянский колдун, говорящий с белоликим богом Боссумом, – все это одно и то же явление, по-разному преломляющееся в сознании человека, в зависимости от широты и силы его мысли. Лютер и Паскаль были и будут велики; колдун – скудоумен.

Жильят не стоял ни на таком высоком, ни на таком низком уровне. Он размышлял. Только и всего.

У него был не совсем обычный взгляд на природу.

Оттого, что он нередко видел в чистой и прозрачной морской воде каких-то больших и странных животных различной формы из семейства медуз, которые вне воды напоминали мягкий хрусталь, а снова попав в свою среду, тождественные ей по бесплотности и цвету, становились почти не приметными, он заключил, что раз прозрачные живые существа населяют воду, то другие прозрачные живые существа могут населять воздух. Птицы не всегда парят в воздухе, ибо они подобны земноводным в море. Жильят не допускал, что воздух необитаем. Он говорил: «Море полно жизни, почему же быть пустой атмосфере? Существа цвета воздуха, вероятно, сливаются со светом и ускользают от нашего взгляда; кто докажет, что их нет? А ведь если сравнить, то подумаешь, что в воздухе есть свои рыбы, как в море есть свои; воздушные рыбы прозрачны, это предусмотрел творец на наше и на их благо; они пропускают свет и не

оставляют тени, они лишены очертаний, ничего-то мы о них не знаем, и нам их не изловить». Жильят воображал, что если бы удалось выкачать атмосферу, как воду из пруда, то обнаружилась бы уйма удивительнейших существ. И он добавлял задумчиво: «Многое бы тогда объяснилось».

Задумчивость, – а это мысль в состоянии туманности, – граничит со сном и тяготеет к нему, как к своему пределу. Воздух, населенный прозрачными существами, был бы началом неведомого, но за ним растворяются врата в царство возможного. Там другие существа, там другие явления. Ничего сверхъестественного, но тайное продолжение бесконечной природы. Жильят в своей деятельной праздности, которая заполняла его жизнь, был наблюдателем необычным. Он наблюдал даже сновидения. Сон соприкасается с возможным, которое мы также называем невероятным. Мир сновидений – поистине целый мир. Ночь сама по себе – вселенная. Организм человека, на который давит атмосферный столб в пятнадцать миль вышиной, к вечеру утомляется, человек падает от усталости, ложится, засыпает; глаза его закрыты, и тогда дремлющий мозг, отнюдь не такой бездейственный, как думают, обретает иное зрение, перед человеком возникает Неведомое. Темные видения неизвестного мира являются спящему, потому ли, что действительно связаны с ним, потому ли, что призрачная глубина бездны словно надвигается на него; чудится, что незримые обитатели беспредельности смотрят на нас, преисполненные любопытства к нам, земножителям; какие-то тени не то поднимаются, не то опускаются, проплывая мимо нас в ночи; мы созерцаем потустороннее, и нам предстает иная жизнь, она возникает и рассеивается, в ней действуем мы сами и еще какие-то силы; и вот перед спящим, который пребывает на грани явственного и бессознательного – невиданные твари, неопишуемые растения, грозные или хохочущие бесплотные существа, духи, личины, оборотни, гидры, призраки, лунный свет в безлунном небе, все это таинственное многообразие ночного чуда, все эти появления и исчезновения среди взбаламученной тьмы, образы, парящие во мраке, все то необъяснимое, что мы называем сновидением, – это и есть приближение невидимой действительности. Сон – аквариум ночи.

Именно так рассуждал Жильят.

Сейчас не найти в бухте Умэ дома Жильята, его сада и того маленького залива, где он держал свой ботик. «Дом за околицей» больше не существует. Полуостровок, на котором стоял дом, развалился под ударами кирки разрушителей побережья, и его погрузили воз за возом на суда торговцев гранитом и скупщиков скал. Он превратился в столичную набережную, в церковь или дворец. Гребень подводных утесов давным-давно отправился в Лондон.

Выветренные, иззубренные скалы, уходящие в море, – горные цепи в миниатюре; они производят на нас такое же впечатление, какое произвели бы Кордильеры на великана. На местном наречии они зовутся «банками». Очертания их многообразны. Одни похожи на спинной хребет, где каждая скала – позвонок; другие – на рыбий скелет; иные – на крокодила, припавшего к воде.

В конце той косы, где стоял «Дом за околицей», возвышалась большая скала, которую рыбаки из Умэ звали Бычьим рогом. Скала эта вздымалась пирамидой и напоминала вершину Джерсея, хоть и была поменьше. Волны во время прилива отделяли ее от суши, и тогда Рог бывал отрезан. При отливе к нему добирались по скалистому перешейку. Любопытной приметой Рога был уступ, похожий на кресло, высеченное волной и отполированное ливнями. Предательское это было кресло. Туда манила красота морского простора, а уйти оттуда «любители видов», как говорят на Гернсее, были не в силах, что-то их удерживало; в широких далях таится очарование. Кресло раскрывало свои объятия; оно стояло будто в нише; до ниши легко добраться, море, вырубившее ее в скале, подставило к ней удобную лестницу из плоских камней; бездна бывает предупредительна, берегитесь ее внимания; кресло соблазняло, туда поднимались; там было так уютно; сиденье – сглаженный и обточенный волною камень, подлокотники – два изогнутых выступа, сделанные словно нарочно, спинка – отвесная гранитная стена, далеко уходящая ввысь; ею любовались, запрокинув голову, не думая о том, что на нее не влезть; на таком кресле забыться было нетрудно: все море открывалось взору, издали было видно, как приближаются суда, как они уходят; взглядом можно было проследить, как парус, обогнув остров Каскэ, исчезает за округлой поверхностью океана. Люди смотрели, восхищались, упивались; негой дышали волны и ветерок. В Кайенне водится коварный нетопырь, во тьме он убаюкивает тихим, предательским веяньем крыльев; ветер подобен невидимой летучей мыши: он или губит, или усыпляет. Созерцая море, внимая ветру, чувствуешь, как тобой овладевает блаженное забытие. Когда глаз пресыщен красотой и ярким светом, то сомкнуть веки – наслаждение. Вдруг человек просыпался. Но бывало слишком поздно. Прилив рос. Вода охватывала скалу.

Грозил неминуемая гибель.

Опасна осада наступающего моря.

Сначала прилив подбирается незаметно, потом все стремительней. Вот он настиг скалу, и его охватывает ярость, он вскипает пеной. Не всегда удается проплыть в бурунах. Даже отличные пловцы, случилось, тонули у Рога близ «Дома за околицей».

В иных местах, в иные часы смотреть на море – подобно отраве, так же, как порой смотреть на женщину.

Древнейшие обитатели Гернсея в старину называли нишу, высеченную волной в скале, креслом Гильд-Хольм-Ур или Кидормюр. Слово, говорят, кельтское, но его не понимают знатоки кельтского языка, зато понимают люди, знающие французский. Qui-dort-meurt – заснешь-умрешь. Так толкуют его крестьяне.

Каждому предоставляется свобода выбора между переводом «заснешь-умрешь» и переводом, напечатанным в 1819 году, если не ошибаюсь, в журнале Арморикен г-ном Атенасом. По мнению почтенного кельтолога, Гильд-Хольм-Ур означает «Привал птичьих стай».

И на острове Ориньи есть такое же кресло, называемое Креслом монаха и превосходно выточенное волной; выступ скалы прилегает к нему так кстати, будто море заботливо поставило вам под ноги скамеечку.

Когда прилив достигал высшего уровня, уже не видно было кресла Гильд-Хольм-Ур. Оно исчезало под водой.

Кресло Гильд-Хольм-Ур было по соседству с «Домом за околицей». Жильят знал о кресле и сиживал в нем. Он часто ходил туда. Быть может, размышлять. Нет. Мы уже говорили, что он мечтал. Но приливу не удавалось захватить его врасплох.

Книга вторая

Месс Летъери

I. Бурная жизнь и спокойная совесть

Месс Летъери, лицо именитое в Сен-Сансоне, бывалый моряк, выдавший виды. Он много плавал. Ему довелось быть юнгой, парусным мастером, марсовым, рулевым, боцманматом, боцманом, лоцманом, шкипером. Теперь он стал судовладельцем. И кому, как не ему, было знать море? Он не ведал страха, спасая людей, терпевших кораблекрушение. В непогоду он прохаживался по песчаному берегу и бормотал, всматриваясь в горизонт: «А ну-ка, что там такое? С кем-то беда». Будь то рыбацья лодка из Веймута, будь то парусник с острова Ориньи, бот из Курселя, или яхта лорда, будь то француз, англичанин, будь то бедняк, богач, будь то сам дьявол – все равно, Летъери прыгал в лодку, подзывал двух-трех храбрецов, а то обходился без них и снаряжался в путь один, отвязывал причал, хватал весла и пускался в открытое море; он рассекал бушующие волны, то взлетая на вал, то соскальзывая вниз, то снова взлетая над пучиной, и неся навстречу опасности. С далекого берега он был виден среди бурлящего моря; он стоял в лодке под ливнем, в блеске молний, – лев с гривой из морской пены. Порою Летъери проводил целые дни в волнах, под градом и ветром, на волосок от смерти, причаливая к тонущим судам, спасая людей, спасая груз, бросая вызов буре. Вечером, возвратившись домой, он вязал чулки.

Так он и жил пятьдесят лет, с десяти до шестидесяти, пока были силы. В шестьдесят лет он заметил, что ему уже не поднять одной рукой наковальню в кузнице Варклена, – наковальня весила триста фунтов, – и вдруг его сковал ревматизм. Пришлось отказаться от моря. Он перешагнул из героического возраста в возраст патриархальный. Стал просто-напросто стариком.

Вместе с ревматизмом к нему пришла и зажиточность. Эти плоды трудов охотно заводят дружбу. Не успеешь разбогатеть, а старость уж тут как тут. Таков венец жизни.

А люди-то думают: «Вот когда поживем всласть».

На таких островках, как Гернсей, население состоит из тех, кто провел жизнь, исходив вдоль и поперек свою пашню, и тех, кто провел жизнь, изъездив вдоль и поперек весь свет. Это два рода пахарей: пахари земли и пахари моря. Месс Летъери относился к последним. Но и земля была ему знакома. Всю жизнь он трудился. Он исколесил материк, он плотничал на верфях в Рошфоре, затем в Сетте. Мы только что говорили о путешествии по всему свету; по Франции Летъери путешествовал как плотничий подмастерье. Работал на черпалках в соляных коях Франш-Конте. Этот скромный человек прожил жизнь искателя приключений. Во Франции он научился читать, мыслить, желать. Он испробовал все и ничем не запятнал свою честь. Душою же он был моряк. Он властвовал над водой. Он говаривал: «Много у меня водится рыбы». Вся его жизнь, не считая двух-трех лет, была отдана океану, «брошена в воду», как он говорил. Он плавал по великим морям, по Атлантическому и Тихому океанам, но всем морям предпочитал Ла-Манш. Он восклицал с нежностью: «Вот где круто приходится!» Там он родился, там он хотел умереть. Раза два объехав вокруг света, он набрался ума, вернулся на Гернсей и там осел. Отныне он совершал путешествия лишь в Гранвиль и Сен-Мало.

Месс Летъери был гернсеец, то есть нормандец, то есть англичанин, то есть француз. У него было как бы четыре родины, но всех их затопил, поглотил океан – его великая отчизна. Всю жизнь и повсюду он хранил верность нравам нормандских рыбаков.

Это ему не мешало при случае перелистать книжку, почитать в свое удовольствие, знать имена философов и поэтов и болтать кое-как на всех языках.

II. К чему он питал пристрастие

Жильят был дикарем, Летъери тоже, но иного склада.

Он отличался по-своему изысканными вкусами.

Этот дикарь был разборчив по части женских ручек. В дни молодости, чуть ли не отрочества, когда он был еще полуюнгой, полуматросом, он услышал замечание бальи Сюффрена: «Прехорошенькая девчонка, но, черт возьми, какие красные

ручищи!» Слово адмирала при всех обстоятельствах – команда. Истина, изреченная начальником, подкрепляется инструкцией о послушании. Восклицанье бальи Сюффрена утончило вкус Летъери, он стал равнодушен к белым женским ручкам. Его же рука – широченная лопата кирпичного цвета – была легка, как дубина, и нежна, как клещи. Ударом кулака он раскалывал булыжник.

Он так и не женился, – не захотел или не нашел по вкусу. Вероятно, этот моряк мечтал о ручке герцогини. Но не сыскать такую ручку среди рыбацек Порбайля.

Правда, говорят, что в Рошфоре, в Шаранте, он как-то встретил девицу, воплотившую его заветную мечту – красотку с хорошенькими ручками. Она вечно злословила и царапалась. Не стоило бы и подступаться к ней. Ее выхоленные ногти, которые при случае превращались в коготки, не знали ни страха ни упрёка! Эти очаровательные ногти пленили Летъери, но потом он встревожился, что в один прекрасный день перестанет быть господином госпожи своего сердца, и раздумал доводить интрижку до дверей мэрии.

А как-то раз ему приглянулась девушка в Ориньи. Он уже подумывал было жениться, но однажды ему сказали: «Поздравляем, хорошая у вас будет навозница». Он попросил объяснить, что означает похвала. В Ориньи существует такой обычай: берут коровий навоз и бросают об стену. Бросать надо умело. Подсохнув, он отваливается от стены, и тогда им топят печи. Высохшие комья навоза называются «лепешками». Парни в Ориньи женятся только на хороших навозницах. Таланты невесты обратили Летъери в бегство.

Впрочем, относительно любви и любовных похождениях у него была грубоватая, здоровая крестьянская философия, мудрость матроса, всегда влюбленного и всегда свободного от брачных уз. Он любил похвалиться тем, что в молодости не мог устоять перед «котильоном». То, что теперь зовется «юбкой», тогда звалось «котильоном». А это и означало женщину.

Неотесанные моряки Нормандского архипелага – народ смышленный. Почти все умеют читать и читают. По воскресеньям восьмилетние малыши-юнги сидят на свернутом канате с книгой в руках. Во все времена нормандские моряки слыли насмешниками и сыпали, как теперь говорится, остротами. Отважный лоцман Керипель, например, пустил крылатое словечко о Монгомери, который скрывался на Джерсее, случайно ранив насмерть копьем Генриха II: «Безголовый прикончил пустоголового». А капитан Тузо из Сен-Брелада сочинил философский

каламбур, неправильно приписанный епископу Камюсу: «После смерти попы превращаются в попок, а цезари в цесарок».

III. Старый морской язык

Моряки Нормандского архипелага – подлинно древние галлы. Острова ныне быстро англизируются, но они долго блюли традиции, сложившиеся в старину. Серкский крестьянин говорит на языке времен Людовика XIV.

Лет сорок тому назад джерсейские и оринийские матросы изъяснялись на классическом морском диалекте. Можно было подумать, что находишься среди мореходов XVII века. Знатоку-языковеду следовало бы приехать сюда, чтобы изучить старинное морское арго корабельной и боевой службы, которое некогда громыхало в рупоре Жана Бара, ужасавшем адмирала Хидда. Морской словарь наших предков, теперь почти совсем вытесненный новшествами, в двадцатых годах еще был в обиходе на Гернсее. Судно, хорошо идущее бейдевинд, звалось тогда «ладным булиньщиком»; «объякорить» означало «бросить якоря»; рыскливый корабль, почти сам собою поворачивающийся к ветру, назывался «ранк»; правый становой якорь – «плехт», а левый – «дагликс». Когда надо было сказать: «Прошло судно», говорили: «Пробежал парус»; «усыпить конец снасти» означало закрепить конец бегучего такелажа; «запустить зуб» означало крепко стать на якорь; «траур» означало грязь, беспорядок на судне. Нынче так уже не скажут. Теперь говорят: «лавировать», а тогда говорили: «реить»; говорят: «обойти мыс» – говорили: «огрести мыс»; говорят: «галфвинд» – говорили: «поперечень»; говорят: «бак» – говорили: «форкастель»; говорят: «кубрик» – говорили: «орлоп»; говорят: «вахта» – говорили: «чередной караул»; говорят: «приводить к ветру» – говорили: «бетить»; говорят: «обстенить паруса» – говорили «положить паруса обстенг». Турвиль писал Окенкуру: «Шли под парусами вкруть». «Топенант» тогда произносили: «тобенант», а «крамбол» – «крамбола»; вместо «зыбь» говорили: «толкун», а вместо «подводный камень» – «потайник». Анго умилился бы, доведись ему услышать в ту пору говор джерсейского лоцмана. Если повсюду паруса «полоскали», то на островах Ла-Манша они «заигрывали»; если повсюду волны «пенились», то там они «жемчужились». На Нормандском архипелаге по старинке применялись только два способа крепления – плоский найтов и найтов с крыжом. Только там еще раздавались приказанья на старинный лад: «Клади руль бакборт!», «Клади руль штирборт!» вместо: «Лево руля!», «Право руля!». Гранвильский матрос уже

говорил: «кип блока», а матрос сентобенский или сенсансонский все продолжал твердить: «шкивный паз». То, что в Сен-Мало называлось «топтимберсом», в Сент-Элье было «ослиным ухом». Месс Летъери, под стать герцогу Вивонскому, вогнутую линию палубы звал «погибью», а молоток конопатчика – «кулаком». Именно на этом диалекте говорили Дюкен, разгромивший Рюитера, Дюге-Труэн, разгромивший Васнера, и Турвиль, который в 1681 году среди бела дня поставил на якорь первую галеру, обстрелявшую Алжир. Ныне язык этот мертв. Морское аргю наших дней иное. Дюпере не понял бы Сюффрена.

Не меньше изменился и язык морских сигналов; далеко четырем фонарям – красному, белому, синему и желтому – времен Лабурдоне до нынешних восемнадцати сигнальных флагов, что, взвившись попарно, по три, по четыре, позволяют судам дальнего плавания обмениваться условными знаками в семидесяти тысячах сочетаний, никогда не подводят и, так сказать, предвидят непредвиденное.

IV. Человек уязвим в том, что он любит

У месса Летъери сердце было как на ладони; широкая ладонь, большое сердце. Чудесное качество – доверчивость – было его недостатком. Если он брал на себя обязательство, то делал это особенно торжественно; он говорил: «Даю честное слово пред Господом Богом». И после клятвы непременно доводил дело до конца. В Господа Бога он верил, этим и ограничивался. А в церковь ходил только из вежливости. В море был суеверен.

Однако он никогда не отступал перед непогодой – он не терпел, когда ему противоречили. Он не спустил бы океану, как никому на свете. Он требовал подчинения; тем хуже для моря, если оно сопротивлялось, – оно должно было смириться. Летъери не шел на уступки: вздыбленной волне не удавалось испугать его, так же как соседу – переспорить. Его слово было законом, а намеренье – делом. Никакие возражения, никакая буря не могли его остановить. «Нет» для него не существовало ни в устах человеческих, ни в громовом раскате. Он добивался своего. Он не допускал отказа. Отсюда его упрямство в жизни и его бесстрашие в океане.

Он с удовольствием сам варил уху, в меру клал перца, соли и корней и наслаждался стряпней не меньше, чем едой. Представьте себе человека, неуклюжего в сюртуке, неузнаваемого в матросской куртке и зюйдвестке, ибо с разметавшимися по ветру волосами он был похож на Жана Бара, а в круглой шляпе – на Жокриса; моряка, нескладного в городе, преобразившегося и грозного в море; представьте силача-грузчика – и ни единого бранного слова даже в редкие минуты гнева, приятный певучий голос, громоподобный в рупоре; представьте себе крестьянина, читающего Энциклопедию, гернсейца – свидетеля революции, во многом сведущего невежду, человека без пустосвятства, но со всевозможными предрассудками, верящего больше в Белую даму, чем в пресвятую деву; представьте силу Полифема, волю Колумба, логику флюгера, что-то бычье и что-то ребяческое во всем облике, вздернутый нос, морщины, рот, полный зубов, мясистые щеки, лицо, что омывалось морскими волнами и оведалось всеми ветрами целых сорок лет, лоб в отблесках гроз, кожу цвета морских скал; ну а теперь вообразите, что суровые черты освещены добродушным взглядом, и перед вами встанет месс Летъери.

У Летъери было две сердечные привязанности: Дюранда и Дерюшетта.

Книга третья

Дюранда и Дерюшетта

I. Щебетанье и дым

Человеческое тело, пожалуй, одна лишь оболочка. Оно скрывает нашу сущность. Оно заслоняет наш внутренний свет или тьму. Сущность – это душа. Вообще же наше лицо – маска. Истинный человек – это то, что скрыто в человеке. Если бы обнаружился истинный человек, который притаился, который спрятался за химерой, именуемой плотью, было бы немало неожиданностей. Общечеловеческое заблуждение и состоит в том, что внешний облик человека принимается за подлинную его суть. Так, иная девушка, если бы мы увидели тайную ее сущность, показалась бы нам птичкой.

Птичка в образе девушки – какая прелесть! Вообразите, что она живет в вашем доме. Это и будет Дерюшетта. Очаровательное создание! Так и хочется сказать ей: «Привет тебе, пташка!» Крылышек не видно, но слышно щебетанье. Порою она заливается песенкой. Когда она болтает, чувствуешь свое превосходство над ней; когда она поет, чувствуешь ее превосходство над тобой. Что-то таинственное звучит в ее пении; это ангел в девичьем образе. Ангел улетает, когда девушка становится женщиной; позднее он возвращается, принося душу ее младенца. Та, которой суждено материнство, пока не вступит в жизнь, долгое время – дитя; в девушке притаилась девочка, она словно малиновка. Увидишь ее и невольно думаешь: «Как мило, что она не улетает от нас!» Кроткая ручная пташка порхает в доме с ветки на ветку, – из комнаты в комнату, то приблизится, то удалится, то нет ее, то она снова тут, пригладит перышки – причешет волосы, и слышится нежный шелест и шорох ее одежд и голос, нашепывающий вам что-то неизъяснимое. Она задает вопросы, ей отвечаешь; ее спрашиваешь, и в ответ – воркование. С ней не говоришь, а болтаешь. Болтовня – отдых от разговора. Что-то неземное есть в этом создании. Она – лазурная мысль, которая сливается с вашими черными мыслями. Вас восхищает воздушность, стремительность, непостоянство, неуловимость, и вы благодарите ее за то, что она по доброте своей не превратилась в невидимку, хотя, кажется, стоило бы ей захотеть, и она стала бы бесплотной. Красота на земле – насущная потребность. Вряд ли найдется на свете более важная обязанность, чем обязанность быть пленительной. Лес впал бы в отчаяние без колибри. Излучать радость, изливать счастье, искриться светом среди мрака, быть позолотой судьбы, быть самой гармонией, самой грацией, самой миловидностью – значит оказывать вам благодеяние. По-моему, польза прекрасного в том, что оно прекрасно. Красавица обладает волшебной силой очарования, неодолимой для окружающих; порою она сама этого не замечает, и тогда чары еще могущественнее; ее присутствие озаряет, приближение греет; она проходит мимо, и вы довольны; она останавливается, и вы счастливы; видеть ее – значит жить; она – утренняя заря в облике человеческом; ее призвание – существовать, и этого достаточно, она превращает ваш дом в Эдем, она полна райского обаяния, она дарует радость, сама того не сознавая. Ее улыбка – кто знает отчего? – облегчает ту огромную, тяжкую цепь, которую влачат сообща все смертные; в этом, как хотите, есть нечто божественное. Вот так улыбалась Дерюшетта. Скажем больше: сама Дерюшетта была такой улыбкой. Существует нечто, раскрывающее нашу душу больше, чем лицо наше, – это его выражение; и нечто, раскрывающее ее больше, чем выражение нашего лица, – это наша улыбка. Улыбающаяся Дерюшетта была подлинной Дерюшеттой.

Дар привлекать сердца – в крови гернсейцев и джерсейцев. Женщины, – а девушки особенно, – красивы цветущей безыскусственной красотой. Белизна саксонок у них сочетается с нормандской свежестью. Розовые щеки, голубые глаза. Но глазам не хватает блеска. Их притушило английское воспитание. Эти ясные очи будут неотразимы, когда в них появится глубина взгляда парижанки. К счастью, Париж еще не вторгся в душу островитянок. Дерюшетта не была парижанкой, но не была и гернсейкой. Родилась она в порту Сен-Пьер, а воспитал ее месс Летъери. Он поставил себе цель сделать из нее пленительное создание и сделал.

Беспечный взгляд Дерюшетты был бессознательно задорен. Вряд ли она понимала, что означает слово «любовь», и покоряла сердца, сама того не ведая. О замужестве она и не помышляла. Как-то знатный старик эмигрант, обосновавшийся в Сен-Сансоне, сказал о ней: «Малютка дьявольски кокетлива».

У Дерюшетты были прелестнейшие в мире ручки, а под стать им и ножки: «четыре мушиные лапки», – говаривал месс Летъери. Весь ее облик дышал добротой и нежностью; вместо семьи и богатства у нее был дядя – месс Летъери, вместо труда – жизнь в свое удовольствие, вместо таланта – несколько песенок, вместо образования – красота, вместо ума – невинность, вместо сердца – неведение; то была она томна, как креолка, то ветрена и резва, то по-детски весела и задорна, то задумчива и грустна; одевалась она во вкусе гернсейских модниц, красиво, но пестро, круглый год носила шляпки с цветами; у нее были каштановые волосы, чистый лоб, гибкая соблазнительная шейка, белая, летом чуть-чуть веснушчатая кожа, полные, свежие губы, а на губах сияние обольстительной и опасной улыбки. Такова была Дерюшетта.

Порою под вечер, после захода солнца, в тот час, когда ночь спускается на море и в сумерках от него веет жутью, в узкий проход сенсансонской гавани на гребнях зловещих волн врывалась, свистя и отплевываясь, какая-то расплывчатая громада, какая-то чудовищная тень, страшилище, рычащее диким зверем и курившееся вулканом; и эта сказочная гидра, изрыгавшая пенную слюну и оглушительно бившая плавниками, волоча хвост дыма и разинув огненную пасть, летела на город. Такова была Дюранда.

II. Извечная история утопии

Паровое судно в водах Ла-Манша в 182... году считалось не только новшеством, но и чудом. Все нормандское побережье долго пребывало в смятении. Сейчас никто и глаз не подымает на десять – двенадцать пароходов, снующих в разных направлениях на горизонте; разве только на минутку они привлекут внимание знатока, который определит по цвету дыма, что в топке вон того судна сжигается уэльский уголь, а вот этого – ньюкаслский. Пусть себе плывут мимо. Пристанут – приветим. А отчалият – добрый путь.

В первую четверть нашего века люди не столь миролюбиво относились к таким выдумкам; особенно косо смотрели на дымящиеся машины островитяне Ла-Манша. Пуританское население архипелага, поносившее английскую королеву за то, что она осквернила библейские заветы[17 - Книга Бытия, глава III, стих 16: «И в муках ты родишь». – Примеч. автора.], разрешившись от бремени под хлороформом, первым делом окрестило пароход «Чертовой посудинной». Простодушным морякам тех лет некогда католикам, позже кальвинистам и во все времена людям суеверным, пароход, должно быть, казался плавучей преисподней. Один местный проповедник вопрошал: «Вправе ли мы заставлять воду работать заодно с огнем, если они разделены самим Господом Богом? И не напоминает ли сей железный огнедышащий зверь Левиафана? Не идем ли мы вспять, к хаосу?» Не впервые успехи прогресса воспринимались как возвращение к хаосу.

Академия наук в ответ на запрос Наполеона о паровом судне в начале века вынесла такой приговор: «Безумная идея, грубейшее заблуждение, нелепость»; сенсансонским рыбакам простительно, что в области науки и оказались на одном уровне с парижскими учеными: в области же религии такой маленький островок, как Гернсей, не обязан быть просвещеннее такого огромного материка, как Америка. В 1807 году, когда первый пароход Фультона с машиной Уатта, присланной из Англии, имея на борту, кроме экипажа, двух пассажиров – француза Андре Мишо и еще кого-то, совершил первый рейс из Нью-Йорка до Албани под командой Ливингстона, случаю угодно было, чтобы это произошло семнадцатого августа. Методисты завопили по этому поводу, пастыри во всех протестантских церквях предали проклятию паровую машину, возвещая, что число семнадцать равно сумме десяти щупалец и семи голов апокалиптического зверя. В Америке приравнивали к пароходу зверя из Апокалипсиса, а в Европе – зверя из книги Бытия. В этом и было различие.

Ученые отвергли идею парохода, как нечто невозможное; священнослужители в свою очередь отвергли ее, как что-то нечестивое. Наука отклоняла, церковь

проклинала. Фультона считали подобием Люцифера. Простой народ – крестьяне и моряки – примкнули к хулителям, ибо им было не по себе от новшества. Вот точка зрения церкви: «Вода и огонь разлучены, и разлучены по божьему велению. Не должно разъединять то, что соединено Богом; не должно соединять то, что Им разъединено». А вот точка зрения простолюдина: «Глядеть на это боязно».

В те давние времена надо было обладать душою Летъери, чтобы отважиться на такое начинание и завести пароход, курсирующий между Гернсеем и Сен-Мало. Только он, вольнодумец, мог пойти на это, только он, смелый моряк, мог осуществить свой замысел. Француз, сидевший в нем, подал мысль; англичанин, сидевший в нем, ее выполнил.

При каких же обстоятельствах? Об этом и поведем рассказ.

III. Рантен

Лет за сорок до того, как свершились события, о которых мы повествуем, в одном из парижских предместий, между Львиным рвом и Томб-Иссуар, к городской стене прилепилась подозрительная лачуга. Домишко стоял на отлете и служил разбойничьим притоном. Жил-поживал в нем с женой и сыном некий обыватель, на деле – вор, бывший прокурорский писец в Шатле, а ныне заправский грабитель. Он кончил скамьей подсудимых. То было семейство Рантенов. В домишке, на комоде красного дерева, виднелись две расписные фарфоровые чашки; на одной было выведено золотом: «В память о дружбе», на другой – «Дань уважения». Мальчик рос в трущобе, бок о бок с преступлением. Родители, выходцы из полубуржуазных кругов, учили сына грамоте, так сказать, воспитывали. Мать, истощенная, неряшливо одетая женщина, рассеянно «давала образование» малышу, заставляя его читать по слогам, и часто отрывалась от занятий, чтобы помочь супругу в воровских его делах или чтобы продаться первому встречному. Букварь, открытый на той странице, где было прервано чтение, лежал на столе, а рядом, задумавшись, сидел мальчик.

Папаша и мамаша Рантены были пойманы на месте преступления и исчезли во мраке тюрьмы. Куда-то исчез и сын.

Однажды в своих скитаньях Летъери встретился с таким же любителем приключений, как он сам, вытянул его из какой-то темной истории, помог ему, пожалел его, полюбил, привез на Гернсей, открыл у него способности к каботажному плаванию и сделал своим компаньоном. То был сынок Рантенов, ставший взрослым.

У Рантена, как и у Летъери, была крепкая шея, широкие и могучие плечи, словно предназначенные для переноски тяжестей, бедра Геркулеса-Фарнезского. Одна походка, одна стать были у Летъери и у Рантена, только Рантен был повыше. Всякий, кто видел их со спины, когда они прохаживались рядом по пристани, говорил: «Наверное, братья». Но зато в лице не было ничего общего. У Летъери все как на ладони, у Рантена все под замком: Рантен был воплощением осмотрительности. Он искусно фехтовал, на расстоянии двадцати шагов пулей снимал нагар со свечи, был превосходным кулачным бойцом, декламировал стихи из Генриады, играл на гармонике и разгадывал сны. Он знал наизусть Гробницы Сен-Дени Тренеяля, хвастался дружбой с калькуттским царьком, «которого португальцы называют заморином». Рантен не расставался с записной книжкой, и если бы вы ее перелистали, то среди всякой всячины вам на глаза попала бы, например, такая заметка: «В стене камеры лионской тюрьмы Сен-Жозеф в трещине спрятан напильник». Рантен говорил с мудрой медлительностью, называл себя сыном кавалера ордена св. Людовика. Белье у него было самое разное, с чужими метками. Рантен выказывал большую щепетильность в вопросах чести, дрался на поединках и убивал. Его взгляд чем-то напоминал взгляд старой сводни.

Хитрость в оболочке силы – вот весь Рантен.

Мастерской удар его кулака по *sabeza de togo*[18 - Голове мавра – силомеру (исп.)] где-то на ярмарке покорило некогда сердце Летъери.

На Гернсее никто и понятия не имел о похождениях Рантена. А похождения эти были разного свойства. Будь у судеб своя костюмерная, судьба Рантена, вероятно, нарядилась бы арлекином. Он знал людей и видывал виды. Не раз ходил в кругосветное плавание. На все руки был мастер. Был он поваром на Мадагаскаре, птицеводом на Суматре, генералом на Гонолулу, сотрудником религиозного журнала на Галапагосских островах, поэтом на Оомравуте, франкмасоном на Гаити. Исполняя эту роль, он произнес в Большой Гоаве надгробную речь, отрывок которой был увековечен местными газетами: «...Прости, прекрасная душа! Ты ныне паришь в лазоревых сводах небес! И там,

разумеется, встретишь доброго аббата Леандра Крамо из Малой Гоавы. Скажи ему, что десять лет ты провела в трудах праведных и завершила постройку церкви в Телячьей бухте! Прости, трансцендентальный дух, примерный масон!» Личина масона, как видите, не мешала Рантену носить накладной нос католицизма. Первое примиряло с ним сторонников прогресса, второе – сторонников «порядка». Рантен заявлял, что он чистокровный белый, и терпеть не мог черных, но, конечно, был бы восхищен Сулуком. В Бордо в 1815 году на его рукаве красовалась зеленая повязка. В те времена его роялизм давал о себе знать огромным белым султаном, торчавшим у него на шляпе. Всю жизнь он отличался тем, что то исчезал, то появлялся, то пропадал бесследно, то вновь выплывал. Это был негодяй, прошедший огонь и воду. Он болтал по-турецки; вместо «гильотинированный» говорил «наколпосаженный». В Триполи он был невольником у одного талеба и турецкому языку научился из-под палки; ему вменялось в обязанность ходить по вечерам от мечети к мечети и читать вслух правозверным изречения из Корана, написанные на деревянных табличках или на верблюжьих лопатках. Вероятно, он и сам перешел в магометанство.

Он был способен на все, и притом на все самое гнусное.

Он хохотал и в то же время хмурил брови. Он изрекал: «В политике я уважаю людей, не поддающихся постороннему влиянию». И еще: «Я стою за нравственность». Его считали весельчаком, душой человеком. Линия рта противоречила смыслу его речей. Ноздри смахивали на лошадиные. К уголкам глаз сходились морщины, и на этом перекрестке назначали друг другу свидание темные мысли. Тут была разгадка тайны его лица. Гусиные лапки оборачивались когтями коршуна. Голова у него была приплюснута, лоб низкий и широкий. Безобразное ухо, заросшее пучками волос, как будто предупреждало: «Тут в берлоге залег зверь. Не говорите с ним».

В один прекрасный день Рантен исчез, и никто на Гернсее не мог сказать, куда он делся.

Компаньон Летъери дал тягу, опустошив кассу компании.

В кассе, разумеется, хранились и деньги Рантена, но он прихватил также пятьдесят тысяч франков Летъери.

Летьери, занимаясь каботажным плаванием и судостроением, за сорок лет честного труда нажил сто тысяч франков. Рантен отнял у него половину. У полуразоренного Летьери не опустились руки, он стал думать, как поправить дела. У людей с твердым характером можно отнять состояние, но нельзя отнять мужество. Тогда только начинали поговаривать о парходах. И вот Летьери пришла мысль испробовать фультоновскую машину, вызывавшую столько споров, и связать паровым судном Нормандский архипелаг с Францией. Ради этого он все поставил на карту. Он вложил в дело все, что у него осталось. Прошло полгода после бегства Рантена, и вот из повергнутого в изумление сенсансонского порта вышло судно, окутанное дымом, будто охваченное пожаром, – первый парход в водах Ла-Манша.

Было оповещено, что парход, который все из ненависти и пренебрежения тут же прозвали «Шаландой Летьери», будет курсировать по расписанию между Гернсеем и Сен-Мало.

IV. Продолжение истории утопии

Вначале, – да это, впрочем, и понятно, – затею Летьери приняли в штыки. Владельцы судов, плававших от острова Гернсея к берегам Франции, возопили. Они заявили, что это посягательство на Священное Писание и на их монополию. Кое-где в часовнях парход был предан анафеме. Некий высокочтимый отец, по имени Элиу, изрек, что парход – «кощунство». Парусник был признан судом праведным. На головах быков, которых привозил и выгружал парход, все ясно увидели рога дьявола. Негодовали долго. Однако мало-помалу обнаруживалось, что перевозка быков на парходе не так их изнуряет, что покупают их охотнее, ибо качество мяса улучшилось; что и для людей не так опасно стало плавать по морю; к тому же на переезд тратится меньше времени; теперь он дешевле и надежнее; что судно отправляется в срок и в срок прибывает; что свежая рыба, доставленная быстрее, сохраняется гораздо лучше, и теперь можно сбывать на французский рынок излишки подчас огромных гернсейских уловов; что замечательное гернсейское масло, гораздо скорее переправленное на «Чертовой посудине», чем на парусниках, не портится, а потому на него спрос в Динане, спрос в Сен-Бриекке и спрос даже в Ренне; что благодаря этой самой «Шаланде Летьери» путешествия стали безопасными, сообщение своевременным, что легче и быстрее теперь обернуться в оба конца, что увеличилось количество рейсов, умножились рынки сбыта, расширилась торговля, что, словом, надо

примириться с «Чертовой посудиною», осквернявшей Библию и обогащавшей остров. Люди смелые даже решились высказать одобрение. Сьер Ландуа, актуариус, заявил о своем полном признании парохода, и это было вполне беспристрастно, ибо он недолюбливал Летъери. Во-первых, Летъери был месс Летъери, а Ландуа только сьер Ландуа; во-вторых, хоть Ландуа и состоял актуариусом в порту Сен-Пьер, он все же являлся прихожанином Сен-Сансона. Таким образом, двое в одном приходе оказались людьми без предрассудков – он и Летъери; этого было достаточно, чтобы они возненавидели друг друга. Сходство взглядов нередко ведет к отчуждению.

Но сьер Ландуа оказался порядочным человеком и стал сторонником парохода. К нему примкнули другие. Так незаметно возрастало значение факта; факты подобны приливу; в один прекрасный день постоянный и растущий успех, бесспорная польза и явное увеличение всеобщего благосостояния привели к тому, что все, не считая нескольких крепколобых умников, начали восхвалять «Шаланду Летъери».

В наше время восхищались бы меньше. Пароход сорокалетней давности вызвал бы улыбку у наших строителей. Это чудо было безобразно; это диво было слабосильно.

Современные трансатлантические пароходы, эти громады, настолько опередили паровое колесное судно, которое Дени Папен спустил на Фульду в 1707 году, насколько трехпалубный корабль «Монтебелло» в двести футов длиной, пятьдесят шириною, с грот-реем в сто пятнадцать футов, водоизмещением в три тысячи тонн, несущий на себе тысячу сто человек, сто двадцать пушек, десять тысяч ядер и сто шестьдесят картечных зарядов, извергающий при каждом залпе в бою по три тысячи триста фунтов железа и распускающий по ветру на ходу пять тысяч шестьсот квадратных метров парусины, опередил датскую ладью II века, найденную в морском иле Вестер-Сатрупа, нагруженную луками, каменными топорами и палицами и выставленную в ратуше города Фленсбурга.

Ровно сто лет, с 1707 по 1807 год, отделяют первое судно Папена от первого судна Фультона. «Шаланда Летъери», конечно, явление прогрессивное по сравнению с этими двумя черновыми набросками будущего парохода, хотя и сама она представляла собой еще только черновой набросок. И все же она была образцом искусства. Всякий зародыш науки можно рассматривать с двух точек зрения; или это уродство, как всякий эмбрион, или чудо, как всякий росток.

V. «Чертова посудина»

«Шаланду Летъери» обмачтовали, не рассчитав центра парусности, но не в том состоял ее недостаток, ибо это – один из законов кораблестроения; к тому же при паровом двигателе паруса были лишь дополнением. Вообще для колесного судна паруса почти не имеют значения: «Шаланда» была неуклюжа – чересчур коротка и округлена; слишком полными были обводы ее кормовой и носовой части; у строителя не хватило смелости сделать ее полегче; «Шаланда» отличалась кое-какими недостатками и некоторыми ценными качествами голландского ботика. На нее мало влияла килевая качка, зато сильно – боковая. Слишком высоки были колесные кожухи, а ширина судна несоразмерна длине. Тяжелая машина загроможила пароход, и, чтобы увеличить грузоподъемность, пришлось сделать борта очень высокими; такой же недостаток присущ и большим семидесятичетырехпушечным кораблям, борта которых приходится срезать, чтобы легче было стрелять из орудий и чтобы улучшить мореходные качества корабля. Короткое судно, конечно, более поворотливо, так как время, затрачиваемое на поворот, зависит от длины корабля. Но тяжеловесность лишала «Шаланду» тех преимуществ, которые дает судну малая длина. Оно было чересчур широко, это замедляло ход, потому что сопротивление воды пропорционально площади наибольшего сечения подводной части корабля и квадрату его скорости. Форштевень был вертикальным, что не считалось бы ошибкой в наши дни, но в те времена было принято давать ему наклон в сорок пять градусов. Обводы корпуса были хорошо подогнаны, но недостаточной длины, при слишком округлой форме судна, а следовательно, не были параллельны сторонам призмы воды, которую вытесняет корабль и которую он должен равномерно отбрасывать в стороны. В бурную погоду пароход зарывался в воду то носом, то кормой. Это указывало на неправильное положение центра тяжести. Груз из-за веса машины укладывался не там, где ему надлежало быть, и центр тяжести часто перемещался за грот-мачту – тогда приходилось идти только под парами, не доверяясь гроту: в противном случае судно уваливалось бы под ветер, а не приводилось бы к ветру. Единственное, что оставалось делать, идя круто бейдевинд, – это травить грота-шкот; вынеся галс к носу, можно было расположить грот таким образом, чтобы он не действовал как кормовой парус. Маневр был трудный. Руль, сделанный по старинке, управлялся не штурвалом, обычным на современных судах, а румпелем, то есть поворачивался на крючьях, вделанных в ахтерштевень, благодаря горизонтальному брусу, проходившему над транцем. На шлюп-балках висели две шлюпки, напоминавшие ялики. На пароходе было четыре якоря: большой якорь,

рабочий и два верпа. Все четыре опускались на цепях при помощи большого кормового и малого носового шпиля. В те времена брашпиль с коромыслом еще не вытеснил неровно работающих ручных шпилей. Судно с двумя лишь верпами – на правом и левом борту – не могло становиться на три якоря, это отчасти обезоруживало его, когда ветер менял направление. Однако в этом случае можно было прибегнуть ко второму якорю. Поплавки якорей были обычные и выдерживали тяжесть буйрепов, оставаясь на поверхности воды. Еще был на пароходе довольно большой баркас, который мог послужить в трудную минуту, – благодаря его размерам им пользовались для подъема большого якоря. Новшеством на корабле явилось то, что некоторые тросы такелажа были заменены цепями, однако это не уменьшало подвижности бегучего и натяжения стоячего такелажа. Рангоут, хотя он и играл второстепенную роль, был безукоризнен; штаг-краги были так превосходно закреплены и так превосходно натянуты, что их почти не было видно. Остов судна был прочной, но топорной работы; при паровом двигателе не требовалось такой тщательной отделки, как при парусах. Пароход развивал скорость в два лье в час. В дрейфе он хорошо держался. Вообще «Шаланда Летьеры» на воде держалась хорошо, но тупой ее нос плохо рассекал волну, и нельзя сказать, чтобы ее обводы отличались красотой. Чувствовалось, что, попади она в опасность – в бурю или на рифы, – управлять ею будет трудно. Она трещала, как всякая нескладная вещь. И, переваливаясь с волны на волну, скрипела, точно новая подошва.

Пароход предназначался для приема грузов и, как всякое судно, оснащенное скорее для целей торговых, нежели для военных, годен был только для переброски клади. Пассажиров он почти не брал. Перевозка скота создавала большие трудности при погрузке и требовала особых приспособлений. Быков в те времена грузили в трюм, что было весьма сложно. Теперь их грузят прямо на палубу. Кожухи колес «Чертовой посуды» были выкрашены в белый цвет, весь корпус до ватерлинии – в огненно-красный, остальные части – в черный: модное в наш век уродство.

Порожний пароход сидел в воде на семь футов, груженный – на четырнадцать.

Машина у него была мощная: одна лошадиная сила на три тонны, – это приближается к силе буксирного парохода. Колеса были размещены удачно, чуть впереди центра тяжести. Максимальное давление в машине достигало двух атмосфер. Она поглощала много угля, хотя была оборудована холодильником и работала с отсечкой пара. Махового колеса не было из-за неустойчивости точки опоры. Но недостаток этот устранялся, как делается и теперь, двумя мотылями,

укрепленными на концах вращающегося вала и расположенными таким образом, что, когда один из них проходит через мертвую точку, другой развивает полную силу. Машина покоилась на цельной чугунной плите, так что даже при самом бедственном положении судна бушующие волны не могли бы поколебать ее равновесие, а повреждения в корпусе не отразились бы на машине. Для большей надежности главный шатун был установлен около цилиндра и центр качания балансира перенесен с середины на край. Позднее были изобретены качающиеся цилиндры, которые позволяют обходиться без шатунов, но во времена Дюранды шатун близ цилиндра являлся как бы последним словом техники. Котел был внутри разделен перегородками и оборудован насосом для морской воды. Колеса были огромные, что сэкономило энергию, а труба высокая, что увеличивало тягу топки, но размеры колес служили помехой при волнении на море, а высота трубы – в ветреную погоду. Деревянные лопасти, железные крючья, чугунные ступицы – вот что представляли собою колеса, отлично сделанные и вдобавок, как это ни удивительно, разборные. Три лопасти постоянно находились в воде. Скорость вращения их центров превышала лишь на одну шестую скорость хода судна; в этом-то и заключался недостаток колес. Кроме того, плечо мотылей было чересчур длинным, а золотник, распределявший пар в цилиндре, развивал слишком большое трение. Но в те времена такая машина казалась, да и была на самом деле верхом совершенства.

Машину построили во Франции на большом заводе железных изделий в Берси. Отчасти она была изобретением самого Летъери – механик, который ее выполнил по проекту Летъери, умер, поэтому она оказалась единственной в своем роде и неповторимой. Чертежник остался, но конструктора уже не было.

Машина обошлась в сорок тысяч франков.

Летъери собственноручно строил «Шаланду» в большом эллинге, что стоит близ первой сторожевой башни между портом Сен-Пьер и Сен-Сансоном. Закупать лес он ездил в Бремен. В постройку судна Летъери, отличный корабельный плотник, вложил все свое мастерство и блеснул искусством в обшивке парохода: узкие ровные пазы он покрыл сарангусти – индийской мастикой, превосходившей по качеству простую смолу. Обшивка ниже ватерлинии была аккуратно обита гвоздями. Подводную часть Летъери покрыл особым составом. Чтобы излишняя полнота обводов не так влияла на ход судна, Летъери удлинил бушприт утлегарем, таким образом к блинду прибавился бом-блиндбобен. Когда спустили судно на воду, Летъери заявил: «Ну вот, я и снялся с мели». И правда, «Шаланда» удалась на славу, все это видели.

Случайно ли, умышленно ли, «Шаланда» была спущена четырнадцатого июля. Летъери, встав в тот день между двумя кожухами, пристально посмотрел на море и воскликнул: «Пришел и твой черед! Парижане взяли Бастилию, а мы теперь одолеем тебя!»

«Шаланда Летъери» курсировала между Гернсеем и Сен-Мало раз в неделю. Отчаливала утром по вторникам, а возвращалась по пятницам вечером, накануне субботнего базара. Она была самым мощным из всех деревянных каботажных судов архипелага, и так как ее грузоподъемность соответствовала ее размерам, то каждый рейс в оба конца приносил больше прибыли, чем четыре рейса обычного парусника. Отсюда – крупные доходы. Слава судна зависит от того, как на нем производится погрузка. А Летъери производил ее образцово. Когда он уже не в силах был работать на пароходе, то обучил одного матроса, который и заменил его на погрузке. Не прошло и двух лет, как пароход стал приносить семьсот пятьдесят фунтов стерлингов чистой выручки ежегодно, то есть восемнадцать тысяч франков. Гернсейский фунт стерлингов стоит двадцать четыре франка, английский – двадцать пять франков, а джерсейский – двадцать шесть. В этой бессмыслице не так мало смысла, как кажется: для банков это выгодно.

VI. К Летъери приходит слава

«Шаланда» процветала. Месс Летъери уже предвидел час, когда он станет «господином» Летъери. На Гернсее сделаться «господином» не так-то просто. Чтобы стать «господином», человеку надо преодолеть целую иерархическую лестницу: на первой ступени его зовут только по имени – скажем, Пьер, на второй – он сосед Пьер, на третьей – дядюшка Пьер, на четвертой – сьер Пьер, на пятой – месс Пьер, а на самом верху он – господин Пьер.

Лестница эта, выходящая из-под земли, теряется в тверди небесной. Ярусами на ней разместилась вся аристократическая Англия. Вот ее ступени знатности в восходящем порядке: над господином (джентльменом) стоит эсквайр (дворянин), повыше эсквайра – шевалье (сэр пожизненный), дальше, ступенью выше, баронет (сэр наследственный), затем лорд (в Шотландии – «лэрд»), далее барон, далее виконт, далее граф («эрл» в Англии, «йорл» в Норвегии), затем маркиз, потом герцог, потом пэр Англии, потом принц королевской крови, а

затем сам король. Лестница ведет от простого люда к буржуазии, от буржуазии к баронству, от баронства к пэрству, от пэрства к королевскому сану.

Мессу Летъери повезло в его дерзком предприятии: благодаря паре, благодаря машине, благодаря «Чертовой посудине» он стал человеком с весом. Для постройки «Шаланды» он принужден был занять деньги, задолжал в Бремене, задолжал в Сен-Мало, но долг погашал ежегодно.

Он даже купил в кредит у самого входа в сенсансонскую гавань новый, красивый каменный дом с надписью на стене, гласившей: «Приют неустрашимых», и расположенный между морем и садом. «Приют неустрашимых» как бы врос в ограду набережной и был примечателен тем, что его окна выходили и на север – в палисадник, заросший цветами, и на юг – прямо на океан; таким образом, у дома было два фасада: один созерцал бури, другой розы.

Они словно были созданы для двух обитателей дома – месса Летъери и мисс Дерюшетты.

«Приют неустрашимых» пользовался большой известностью в Сен-Сансоне. К мессу Летъери в самом деле пришла известность. Этой известностью он был обязан отчасти своей добротой, самоотверженности и смелости, отчасти тому, что спас немало людей, но главное – своему успеху, а также и тому, что отдал предпочтение порту Сен-Сансон; оттуда пароход отправлялся, туда он и возвращался. Столица Гернсея, порт Сен-Пьер, убедившись, что «Чертова посудина» – дело стоящее, пригласила месса Летъери к себе на жительство; но он остался верен Сен-Сансону. То был его родной город. Он говаривал: «Отсюда я вышел в море». Это и создало ему широкую известность среди земляков. Звание домовладельца и налогоплательщика сделало его, как говорится на Гернсее, «коренным горожанином». Он был удостоен выборной должности сборщика податей. Бедный матрос достиг пятой ступени шестиступенной социальной лестницы гернсейцев: он стал «мессом» Летъери; он почти добрался до «господина», и, кто знает, быть может, ему суждено было перепрыгнуть и через «господина»? Кто знает, может быть, в один прекрасный день люди и прочтут в гернсейском альманахе в рубрике «Дворянство и знать» неслыханную, полную величия запись: «Летъери, эсквайр»?

Но месс Летъери презирал, или, вернее, чуждался, суетных сторон жизни. Он чувствовал себя полезным, в этом была его радость. Он считал, что польза важнее известности. У него были, как мы уже упоминали, две слабости и,

следовательно, две честолюбивые мечты: Дюранда и Дерюшетта.

Так или иначе, он попытал счастья в лотерее моря и выиграл.

Выигрышем была Дюранда, несущаяся по волнам.

VII. Общий крестный и общая святая

Создав пароход, Летъери окрестил его. Нарек он его «Дюрандой». Да позволят нам тоже называть его отныне Дюрандой и, невзирая на корректорские правила, опускать кавычки при имени Дюранда, считаясь с мнением Летъери, для которого Дюранда была существом почти одухотворенным.

Дюранда и Дерюшетта – одно имя. Дерюшетта – уменьшительное от Дюранда. Оно очень распространено на западе Франции.

Деревенские жители часто называют святых всеми их уменьшительными и всеми увеличительными именами. Можно подумать, что речь идет о многих, когда говорят лишь об одном. Тожество святых мужей и жен, именуемых различно, – не редкость. Лиз, Лизетта, Лиза, Элиза, Изабелла, Лизбет, Бетси, весь этот сонм имен – одно имя: Елизавета. По всей вероятности, и Магу, Маклу, Мало и Маглуар – один и тот же святой. Впрочем, не настаиваем.

Святая Дюранда – покровительница Ангулема и Шаранты. Подлинно ли она святая? Это дело болландистов. Подлинно ли, нет ли, но в честь ее была построена часовня.

В молодости Летъери, тогда еще матрос, побывал в Рошфоре и познакомился с этой святой, воплотившейся, вероятно, в какую-нибудь хорошенькую шарантонку, быть может девицу с красивыми ноготками. Она запомнилась ему, он решил назвать ее именем тех, кого любил: Дюрандой – пароход, Дерюшеттой – девушку.

Первой он приходился отцом, второй – дядей.

Дерюшетта была дочерью его покойного брата. Она осталась круглой сиротой. Летъери удочерил ее, заменив ей отца и мать.

Дерюшетта приходилась ему не только племянницей, но и крестницей. Он был ее воспитанником от купели. Он сам выбрал ей имя святой Дюранды и ласкательное имя Дерюшетта.

Дерюшетта, как мы сказали, родилась в порту Сен-Пьер.

Запись об этом внесена под соответствующей датой в метрическую книгу прихода.

Пока племянница была девочкой, а дядя – бедняком, никто и внимания не обращал на имя «Дерюшетта», но, когда девочка превратилась в барышню, а матрос – в судовладельца, имя Дерюшетта стало оскорблять слух. Оно удивляло. У Летъери спрашивали: «Что за имя Дерюшетта?» Он отвечал: «Имя как имя». Много раз его уговаривали дать ей другое имя, но Летъери не соглашался. Как-то одна красивая дама из «великосветского» сенсансонского общества, жена богатого кузнеца, ушедшего на покой, сказала Летъери: «Я буду называть вашу дочку Нанси». На это он ответил: «А почему бы не Лон-ле-Сонье?» Но красавица не отступила и на другой день сказала ему: «Мы решительно не желаем никаких Дерюшетт. Я придумала прелестное имя для вашей дочки – “Луиза”». – «Что правда, то правда, прелестное, – согласился Летъери, – да только как бы люди не стали судачить: гоняются, мол, женихи не за Луизой, а за ее луи золотыми». И Дерюшетта осталась Дерюшеттой.

Вы ошиблись бы, заключив из этих слов, что Летъери не хотел выдать племянницу замуж. Нет, он охотно выдал бы ее замуж, но по своему вкусу. Он мечтал, что муж у нее будет работяга, человек его склада, а что сама она будет жить в праздности. Ему нравились мужчины с мозолистыми руками и белоручки женщины. Он воспитывал Дерюшетту, как барышню, чтобы она не портила своих хорошеньких ручек. У нее был учитель музыки, было фортепиано, книги, рабочая корзинка с иголками и мотками ниток. Шитью она предпочитала чтение, чтению – музыку. Этого и хотел месс Летъери. Очарования – вот чего он от нее требовал. Он растил ее, как растят цветок, а не женщину. Тому, кто изучал нравы моряков, это понятно. Грубое тянется к изысканному. Для осуществления идеала дядюшки племянница должна была стать богатой. Этого и добивался Летъери. Для этой цели и работала его огромная морская машина. Он заставил Дюранду готовить приданое Дерюшетте.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Ананке (ΑΝΑΓΚΗ) – рок, судьба (греч.).

2

Бог (англ.).

3

Добрый (англ.).

4

Unda – волна; unde – откуда (лат.).

5

Ou – или; о? – где (фр.).

6

Турецкий кролик (англ.).

7

Которых посвящает небу та же слава (лат.).

8

Шарль Аспле, Бересфорд-стрит. – Примеч. автора.

9

Domjio и domi-junctae – сокращенное или искаженное начертание латинского domus juncta – прилегающий, смежный дом, – легшего в основу французского слова donjon – главная башня феодального замка.

10

Время – деньги (англ.).

11

Вспоминается Аргос (лат.).

12

Человек-разрушитель (лат.).

13

Вот, в частности, соотношение сумм, собранных по подписке для французов, потерпевших от наводнения 1856 года; Франция пожертвовала тридцать сантимов с человека, Англия – десять сантимов, Гернсей – тридцать восемь сантимов. – Примеч. автора.

14

Человек человеку зверь (лат.).

15

О наваждениях ночных и о семени диаволовом (лат.).

16

Оковы любят перемены (лат.).

17

Книга Бытия, глава III, стих 16: «И в муках ты родишь». – Примеч. автора.

18

Голове мавра – силомеру (исп.).

Купить: <https://tellnovel.com/ru/viktor-gyugo/truzheniki-morya-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)